

Крестьянское восстание

Автор:

Август Шеноа

Крестьянское восстание

Август Шеноа

«Было после полудня конца февраля, лета господня 1564. Снег на горах уже растаял от живительных лучей солнца, и набухшая от притока горных вод река Сава неслась все стремительнее, широко разлившись по равнине у замка Сусед. В небольшой комнате замка, у высокого окна, сидела пожилая, но крепкая еще женщина, вся в черном. Если б ее светлые седеющие волосы не были зачесаны по обе стороны высокого выпуклого лба, то можно было бы подумать, что перед нами голова мужчины: большое лицо с тяжелой челюстью, длинный, загнутый книзу нос, широкий рот с бледными тонкими губами...»

Август Шеноа

Крестьянское восстание

1

Было после полудня конца февраля, лета господня 1564. Снег на горах уже растаял от живительных лучей солнца, и набухшая от притока горных вод река Сава неслась все стремительнее, широко разлившись по равнине у замка Сусед. В небольшой комнате замка, у высокого окна, сидела пожилая, но крепкая еще женщина, вся в черном. Если б ее светлые седеющие волосы не были зачесаны по обе стороны высокого выпуклого лба, то можно было бы подумать, что перед нами голова мужчины: большое лицо с тяжелой челюстью, длинный, загнутый

книзу нос, широкий рот с бледными тонкими губами. Из-под густых сросшихся рыжих бровей глядели на мир бледно-голубые глаза с загадочным, почти угрюмым выражением. Напрасно было стараться прочесть в них, какие чувства владеют сердцем этой женщины и какие мысли зарождаются в ее голове. Морщины на щеках, около глаз и рта говорили о том, что в ее сердце боролись сильные страсти. Но теперь она была спокойна, словно каменное изваяние, и на ее строгом лице не было видно никакой женской мягкости, оно выражало лишь твердую, непоколебимую волю, сильный дух и неодолимую решимость. Эта крепкая высокая женщина была одета в черное суконное платье со сборками, отделанное черным шелком. Вокруг пояса была обвита массивная серебряная цепочка, на которой висела связка больших ключей. Сухие, жесткие пальцы женщины покоились на серебряной шкатулке, стоявшей перед ней на столике. Взгляд ее то останавливался на голом лесе и затопленной Равнине перед замком, то на шкатулке. По временам губы ее вздрагивали от горькой усмешки и пальцы еще крепче сжимали шкатулку; тогда она делалась похожей на львицу, оберегающую своих детенышей. Вошедший в высокую дверь слуга вывел ее наконец из состояния оцепенения. Женщина слегка повернула голову и спросила хриплым голосом:

– Что тебе, Иво?

– Простите, благородная госпожа, – ответил смиренно слуга, – к нашему замку подъехал верховой, говорит как мадьяр, по виду дворянин.

– Как его зовут? Откуда едет?

– Этого он мне не сказал, а только велел доложить о себе вашей милости. Он должен предстать перед вами и переговорить о важных делах.

– Мадьяр? Дворянин? Переговорить со мной о важных делах? Посмотрим, какие добрые вести привез этот мадьяр! Скажи ему, что он может войти. Да, погоди, поставь его коня под крышу и дай ему вволю овса и сена, чтоб этот мадьяр не жаловался на хорватских господ. Ступай!

Слуга, поклонившись, вышел, и через несколько минут по каменному полу комнаты зазвенели шпоры неизвестного гостя. Вошел высокий сухой человек с маленькой бритой головой и узким бородатым лицом. Под длинным коричневым плащом виднелся синий суконный кафтан, застегнутый на груди круглыми

серебряными пряжками. Левая рука его была под плащом, а в правой он держал меховую шапку.

– Слава Иисусу и Марии, благородная госпожа! – сказал мадьяр, кланяясь порывисто и смело.

Женщина смерила его взглядом с головы до ног и через минуту спокойно ответила:

– Во веки веков, аминь! Кто вы такой? Из каких краев? С какой вестью?

– Я Михайло Палфи, венгерский дворянин, слуга вашей милости. На мою долю выпало счастье привезти привет и поклон, которые мой уважаемый господин, вельможный князь Андрия Баторий, королевский судья, посылает своей благородной родственнице, Уршуле Хенинг.

– Ну, ну! Спасибо ему, спасибо, – проговорила Уршула с усмешкой. – Вот как мой милый родственник хорошо меня помнит! Доброе он сделал дело. Садитесь, господин Палфи: положите плащ и шапку. Я вижу, вы очень устали после дальней дороги.

Приезжий исполнил ее просьбу, а потом сказал:

– Мой вельможный господин приказал мне прежде всего передать вашей милости, что сердце его сжалось от боли, когда смерть похитила его дорогого родственника, а вашего достойного супруга, господина Андрию Хенинга.

– Как же господин королевский судья милостив ко мне, бедной вдове! Обремененный столькими важными делами, да еще в такое тяжелое время, он не позабыл меня. Да, да. В прошлом году, в восемнадцатый день октября, мой уважаемый супруг Андрия покинул этот мир и меня бедную, причем в самую тяжелую минуту. Значит, благородное сердце моего милого родственника и посейчас еще скорбит! Добрая душа, спасибо ему! Но, скажите мне, *egregie ac nobilis domine*, [1 - Уважаемый и благородный господин (лат.).] неужели вы совершил столь дальний путь только для того, чтоб передать мне слезное соболезнование вашего господина? Не говорил ли он вам что-нибудь и о других делах?

– Да, ваша милость, господин королевский судья послал меня по делу о замках Сусед и Верхняя Стубица, дабы постараться лучше наладить общее владение.

– Вот как, мне очень приятно, что господин Андрия опомнился; правда, поздновато, но и то хорошо. Как только я схоронила покойного мужа, я написала Андрию Баторию письмо, прося его помощи, так как он нам родня, а Сусед и Стубица общее владение моей и его семьи; после этого я писала ему еще раз десять, но никогда не получала никакого ответа. А вместо помощи он послал мне помеху в лице своего управляющего Джуро Всесвятского, который, по совести говоря, должен был бы именоваться Вседьявольским. Этот сливар, у которого не найдется и двух пар волов, обнаглел только потому, что его брат Стипо – каноник в Загребе; заважничал так, как будто ему принадлежат и замки Зринских и герб Франко-панов. Он попал в Сусед, как муха в молоко, ведет себя, как барин, ставит мне палки в колеса, ворует у меня под носом, как будто все имение принадлежит Баторию, а я и мои бедные дети живем здесь из милости, получая лишь стол и квартиру.

– Простите, ваша милость, – проговорил несколько взволнованно мадьяр, которому эта отповедь была вовсе не по душе.

– Дайте мне докончить, господин Палфи, – резко прервала его госпожа Уршула. – Вы должны сперва все выслушать, а потом только судить. Говорю вам, господин Всесвятский – сущий разбойник, таковы же и оба его верные помощники – Янко Хорват и Никола Голубич. в замок то и дело приходят крестьяне жаловаться. Эти дьяволы с ружьями и саблями налетают на мирных крестьян и грабят без разбора. У одного моего кмета в Крапине они разрушили мельницу, у другого, из Яковля, увезли весь хлеб, а в селе Трговине, что под самым Суседом, Всесвятский увел у старшины двух лучших коров. Когда я его призвала к ответу и сказала, что буду действовать силой, он только усмехнулся, говоря, что не боится старухи и что в замке господами являются Батории. Потом он собрал все ружья, пушки и порох и запер все на ключ, хотя это оружие общее. Весь доход с имения должен делиться поровну, но Всесвятский меня обманывает и на хлебе, и на сене, и на вине, а когда я ему делаю замечания, он со смехом кричит, что на него нет ни суда, ни закона, потому что его господин – верховный судья, которому бабьи речи не страшны.

– Но поверьте, ваша милость, – перебил ее мадьяр, – все это происходило не по воле моего вельможного господина.

– Неправда, господин Палфи, – воскликнула женщина, и глаза ее засверкали, – неправда! Я же вам сказала, что обо всем подробно написала моему родственнику Андрии, а он мне ни слова не ответил. А этот безбожный Всесвятский показал мне письмо Батория, в котором тот его хвалит и просит не обращать на меня внимания. А? Что вы на это скажете, благородный посланец? – воскликнула Уршула и быстро поднялась, окинув мадьяра таким взглядом, что тот потупил глаза и смущенно промолчал.

Стоя перед ним, она продолжала взволнованным голосом:

– Честному человеку нетрудно иметь со мной дело, но если кто строит козни за моей спиной, я забываю, что я женщина. А воля у меня сильная; сильнее, чем у господина Батория, хоть он и первый судья на венгерской земле. Уже свыше ста лет Хенинги сидят в Суседе и Стубице, свыше ста лет они здесь хозяева. Взгляните на этот женский портрет, что висит над камином: это несчастная Дора из старинного хорватского рода Арландов; она вышла за Андрию Хенинга Первого и принесла своему потомству замок Сусед и Стубицу, а ее внучка, Ката, мать моего мужа, вышла за господина Тойфенбаха, к которому перешла фамилия и имение Хенингов. Мой покойный муж и я достаточно намучились и потратились для того, чтобы вырвать Сусед и Стубицу из рук вельможных разбойников, которые обманом выкляли у нового короля Фердинанда дарственную запись. Нам удалось выгнать из родовых владений и непрошеного гостя – испанца дон Педро де Лаза, и могущественного епископа Шимуна Эрдеди, и лютеранского барона Ивана Унгнада, и генерала Кациянара; когда князь Никола Зринский поделом снес этому изменнику голову, то все имение захватила королевская казна, и нам с трудом удалось вырвать из ее когтей Сусед и Стубицу, а Желин пришлось оставить в руках этого разбойника Бакача. Сколько мучений мы испытали, какие убытки потерпели! Выносила я семерых детей под сердцем, потеряла единственного сына, потеряла мужа, а из шести дочерей только троих выдала, замуж, несчастная я вдова. И вот теперь на наше старое гнездо налетел ястреб и хочет выбросить меня, бедную кукушку. И кто же? Мой родственник, верховный судья венгерского королевства Андрия Баторий! Горе стране, где правосудие находится в таких руках! Напишите же вашему господину, что его расчеты плохи, напишите ему, что у старой Хенинг голова крепкая, что она хорошо изучила свои права, которые хранятся вот в этой серебряной шкатулке, что она не хуже любого прокурора знает все ваши латинские извороты и что вам не удастся ее провести. Скажите ему, что у меня храбрые зятья Михайло Коньский, Мато Керечен и Степко Грегорианец, сын подбана Амброза. Так что, если у Батория, занятого борьбой с турками, найдется еще время, чтоб вступить в бой с женщиной, то придется и Уршуле пальнуть из

пушки по этим несправедливым весам Фемиды, как подобает дочери Мекницера, пограничного воеводы. Но чего мы тут препираемся? Я уже в прошлом году подала две жалобы. Одну, в день святого Мартина, подал мои зять Михайло Коньский бану Петару Эрдеди – на Баториев, а другую, на Джуро Всесвятского, я послала лично, в день святой Елизаветы, его королевскому величеству в Пожун. Король приказал расследовать дело. Пусть сначала прозвучит голос суда, а потом уж, если потребуется, и голос ружей.

Благородный господин Палфи был поражен словесным потоком, вылившимся на его голову из уст старой Хенинг. Озадаченный. смотрел он на эту странную женщину, которая с Раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами быстро шагала взад и вперед по комнате, где теперь слышался лишь стук ее каблуков о каменный пол да ее тяжелое, сердитое дыхание. Но вскоре мадьяр опомнился.

– Ваша милость, – начал он кротко, – я очень сожалею, что невольно стал причиной вашего гнева. Вы женщина почтенная, вдова, вы – мать. Вы страдаете от несправедливости, и это понятно. Вы сказали много дельных, веских слов, упомянули ряд причиненных вам обид, и я, понимая ваш благородный гнев, не сомневаюсь в ваших доводах. Мой уважаемый господин подробно объяснил мне, кто имеет право на Сусед и Стубицу и откуда эти права происходят. Хотя все несправедливости, выпавшие на вашу долю, произошли не по вине моего вельможного господина, а в гораздо большей мере являются следствием того беспорядка, который возник в королевстве и в Венгрии после несчастного поражения при Мохаче, – тем не менее господин королевский судья признает и сожалеет, что и он до некоторой степени виноват. Правда, не столько по злему умыслу, сколько в силу жестокости нашего развращенного века и неправильных действий недобросовестных чиновников. Он об этом сожалеет и имеет твердое намерение все исправить. Я, таким образом, являюсь посланцем мира и прошу вас, благородная госпожа, выслушать меня спокойно.

Палфи умолк, ожидая, что ответит Уршула.

– Говорите быстрее и короче! – ответила она, даже не обернувшись к посланцу, и, скрестив руки, устремила взгляд в окно на равнину.

Мадьяр продолжал:

– Владение, о котором идет речь, то есть Сусед и Верхняя Стубица, велико и плодородно. Оно простирается от села Стеневец до самой границы Штирии на Сутле и от Ступника до Бистрицы. Тут есть и пахотные земли, и луга, и виноградники, и леса, и пастбища, и хутора, и мельницы, и два укрепленных замка, и много крепких, работающих кметов. Неудивительно поэтому, что многие зарились на него, хотя нет никакого сомнения в том, кто имеет на него право. Оно по наследству принадлежит пополам семействам Хенингов и Баториев, потому что и покойная госпожа Ката, мать господина королевского судьи, была по женской линии из рода Хенингов. Это неоспоримое право было, как вы сами сказали, грубо нарушено в то несчастное время, когда Фердинанд Габсбургский и Иван Запойя боролись за венгерскую корону да вдобавок и турок опустошал эту землю. В такое время трудно защищать и самое неоспоримое право. Когда какой-нибудь государь посягает на новую корону, то главная его забота – привлечь к себе как можно больше сильных сторонников, и тогда в угоду им и ради своей пользы он не прочь вырвать то тут, то там несколько страниц из книги правосудия. При этом он нимало не заботится о правиле: *quid juris*, [2 – то, что по закону (лат.).] а придерживается принципа: *do, ut des*. [3 – Даю, чтоб и ты дал (лат.).] Мой господин стал приверженцем Фердинанда, так же как и покойный Андрия Хенинг, ранее носивший фамилию своей семьи – Тойфенбах, что вполне естественно, так как он был немецкого происхождения. Король Фердинанд сперва подарил имение своему конюшему, и в этом не было ничего удивительного. Испанец был льстивый болтун и всегда сопровождал короля. Потом он передал имение Шимуну Эрдеди, загребскому епископу, что тоже не странно. Семья Эрдеди богата, сильна, храбра, а самым крепким, непоколебимым, выносливым и смелым из них был покойный епископ Шимун, главная поддержка Ивана Запойя в Хорватии. Фердинанд рад был бы дать ему не только Сусед и Стубицу, а много больше, лишь бы переманить его на сторону Габсбургов. Кациянара король считал хорошим генералом, способным прогнать турок, – пока не выяснилось, что он куплен ими. Главное было тогда в том, кто угоден новому государю, а не в том, у кого есть право. Наконец Батории и Хенинги снова одержали верх над всеми непрошеными гостями. В 1559 году, в Линце, король Фердинанд подтвердил за семьями Баториев и Хенингов право владения имениями Сусед и Стубица.

– Да, – добавила госпожа Уршула, слегка обернувшись, – каждая семья, как по мужской, так и по женской линии, пользовалась половиной.

– Но как это вышло и кто этого добился, благородная госпожа?

– И Баторий и мой покойный супруг, вместе.

– Верно, – ответил Палфи, – Баторий и Андрия Хенинг подали прошение королю. Но победа вашего права (да простит мне ваша милость эти слова) была выиграна главным образом благодаря авторитету верховного судьи венгерского королевства. Мой господин теперь хочет, чтобы там, где король Фердинанд победил Ивана, право семьи утвердилось отныне крепко и нерушимо, и он, конечно, не имеет ни малейшего намерения касаться половины, которая принадлежит роду Хенингов.

– Другими словами, – и Уршула совсем обернулась к посланцу, – имение неделимое и родовое, и как пользование им, так и доход должны быть разделены поровну между нашими семьями. Таков смысл королевской дарственной и таков был договор, заключенный между моим покойным мужем и господином Баторием в Стубице.

– Да, да, – ответил несколько смущенно мадьяр.

– Надо вам еще сказать, – продолжала госпожа Уршула, – что в тысяча пятьсот пятьдесят девятом году я дала займы покойному господину Андрии семь тысяч венгерских флоринов из своего наследства и выговорила право залога на четвертую часть имения. Не забудьте и то, что когда мы приняли имение, на нем был долг. Кредиторы – барон Клайнах, Яков Секель и Ладислав Керечен – очень досаждали моему покойному мужу; по счастью, нашелся добрый человек, господин подбан Амброз Грегорианец, который выплатил этим пиявкам долг в размере двух тысяч тридцати трех венгерских флоринов, задержав, понятно, за собой право залога, которое он потом перенес на своего сына Степко, когда тот женился на моей дочери Марте.

– И это я знаю, ваша милость, но, по-моему, это обязательство падает на половину Хенингов.

– Замолчите! – крикнула госпожа Уршула, топнув ногой. – Тут не может быть и речи о половине. Долг лежит на всем имении. Пока я жива – ни королевский судья, ни сам король не посмеют разрезать пополам наше наследие, хотя это двойное владение на одной земле мне всегда напоминает того странного двуглавого орла, одна голова которого смотрит направо, а другая налево.

– Ах, конечно, конечно, ваша милость! – вскрикнул Палфи, вскочив, и глаза его засверкали. – Так же думает и мой вельможный господин. Оставим подозрения и укоры. Закончим этот спор, который длится уже целый час. Мой вельможный господин не хотел бы, чтоб это дело дошло до суда; он ведь сам судья, а такие споры между родственниками – сущее проклятие.

– Ага, – злорадно засмеялась госпожа Уршула, – значит, мой милый родственник боится суда? Это надо принять к сведению. Он-то ведь знает законы. По-видимому, его право держится на волоске. Но послушаем, господин Палфи, ваши предложения.

Скрестив руки и глядя в пол, госпожа Уршула стала мерно ходить взад и вперед по комнате, а рядом с ней, кланяясь и размахивая руками, шагал Палфи.

– Pro primo,[4 - Во-первых (лат.).] – сказал мадьяр, подняв палец, – Джуро Всесвятский будет убран. Он человек грубый, может быть из усердия к своему господину, а отчасти ради собственного кармана; но раз он не по нраву вашей милости – его надо убрать; к тому же он слабый и больной. Это и будет лучшим предлогом для его удаления.

– Bene,[5 - Хорошо (лат.).] – сказала госпожа Уршула, – продолжайте.

– Pro secundo,[6 - Во-вторых (лат.).] – продолжал мадьяр, подняв теперь кверху указательный палец, – своим управляющим мой вельможный господин назначит Грго Домброя, человека ученого, спокойного, справедливого, к тому же холостого, и в этих краях у него нет никакой родни. Ему по описи передадут вино, скот, хлеб, сено и обстановку из части, принадлежащей моему вельможному господину.

– Bene, – повторила Уршула, – но этих злодеев, Хорвата и Голубича, тоже надо выгнать, слышите?

– Непременно! Мы их сразу же и выгоним, ваша милость, – согласился мадьяр. – Pro tertio,[7 - В-третьих (лат.).] имение остается неделимым *quoad dominium et possessionem et omnia jura possessionaria*,[8 - в отношении владения и всех владельческих прав (лат.).] надо только найти способ, как разумнее согласовать это двойное владение.

– Дальше, – сказала старая Хенинг, поглядев исподлобья на посланца.

– Дело не такое трудное, как кажется с первого взгляда. Прежде всего надо помнить, что по закону весь доход следует делить поровну. Вы, конечно, согласитесь со мной, что очень плохо, когда в одном доме два хозяина; да и вообще это уже не хозяйство, если один начнет вмешиваться в дела другого! Но во всяком случае не годится, чтоб вашей милости надоедали какие-то приказчики и кастеляны, как это делал, например, Всесвятский. Я бы поэтому предложил следующее. Всему fundus instructus[9 - поместье с постройками и хозяйственными орудиями (лат.).] будет составлена опись, с тем чтобы имущество никогда не уменьшалось. Затем надо будет подсчитать доход от отдельных участков и кметов и разделить его на две равные части. На одной будете хозяйничать вы, уважаемая госпожа, на другой – управляющий моего вельможного господина. Опись будет проверяться каждый год. В одном, лучшем, замке будете жить вы, уважаемая госпожа, а здесь, в Суседе, будет жить управляющий Батория.

– А! – воскликнула госпожа Уршула. – Вы снова принялись делить, господин Палфи! А чем же я обеспечу свое право владения в Суседе? Никогда, никогда!

– Успокойтесь, ваша милость, – продолжал простодушно мадьяр, – я и об этом подумал и считаю вполне правильным, чтобы вы, хоть Батории вам и родня, обеспечили себя и с этой стороны. Я сейчас говорю с вами не как представитель королевского судьи, а как друг. Чтоб обеспечить ваше право владения, в этом замке будет жить ваш подкастелян, человек надежный, безупречный, дворянин, который и будет охранять ваши интересы. Все это мы можем изложить на бумаге в виде договора, обязательного для обеих сторон.

– Но почему же я не могу остаться в Суседе? – проговорила Уршула, помолчав с минуту. – Ведь тут исконное гнездо Хенингов!

Сказав это, Уршула стала исподлобья наблюдать за мадьяром, который в первую минуту смутился, но вскоре оправился и быстро заговорил:

– На вашем месте я бы и не поднимал этого вопроса. Вы и так живете попеременно то в Суседе, то в Стубице, а етубицкая часть имения, во всяком случае, лучше суседской. Не взвешивать же нам каждое зернышко при составлении описи; мой уважаемый господин соглашается даже и на то, чтобы in

maiores vim juris,[10 - для большей силы права, чтоб закрепить наше право (лат.).] вы проводили два месяца в году в Суседе; к вам же в Стубицу он не пошлет никого из своих людей. Вы спросите, почему господин королевский судья выбрал Суседу? Ближе к Загребу, на границе Штирии, недалеко от Краньской. В Загребе у него друзья, которые присмотрят за хозяйством; вы продаете урожай на месте, а Баторий живет в Венгрии, в Пожунском округе, ему нужно много денег, и он выгоднее сможет продавать урожай в ближайших местах. Мне кажется, что это предложение искренне и честно, хотя, может быть, и не так выгодно для моего господина. Но мне приказано предложить именно такие условия, дабы ваша милость могли удостовериться, что Батории не желают Хенингам зла, не хотят их обманывать, а, напротив, ла от в своем сердце любовь к своим родственникам, даже и себе в ущерб. Судите сами, благородная госпожа. Вдова, остановившись со скрещенными на груди руками, обратила свои бледно-голубые глаза на господина Палфи, как бы стараясь прочесть на его лице – говорит ли он правду или лжет. Но посланец не потупил взгляда. Уршула опустила голову и погрузилась в размышления. Предложение было довольно выгодно: стубицкая часть имения была намного лучше. Она начала мысленно высчитывать: договор был даже очень выгодный. Да наконец – она жаждала мира. Первые годы ее брака были беспокойными, бурными. В королевстве было два короля, две своевольные партии вельмож, два враждующих лагеря дворян; законы почти ничего не значили, и суд и расправу творила сабля. Покойный Андрия Хенинг был человек слабый, и она с шестью дочерьми стала жертвой разбойничьей алчности, прикрывавшейся каким-то вымышленным королевским документом. Затевать новую тяжбу? С кем? С могущественным Андрией Баторием, другом и наперсником короля Фердинанда, верховным судьей?

Уршула вдруг подняла голову и спокойно сказала:

– Благородный господин! Дело, о котором мы вдоволь наговорились, очень важно и касается всей моей семьи. Я хоть и знаю немного ваши законы, но надо, во-первых, все хорошенько обдумать, а во-вторых, переговорить с остальными родственниками. Я посоветуюсь с зятьями и с подбаном Амброзом. Ум хорошо, а два лучше. Поэтому потерпите. Не могу вам сказать, что я просто-напросто отвергаю предложенные условия, но не скажу и того, что я их принимаю. А пока вы мой гость, будьте как дома и считайте весь замок своим. Через несколько дней вы сможете доложить вельможному господину Андрии Баторию, на чем мы порешили; но так как мужчина рассуждает хладнокровнее и у него больше искусства в делах, я поручу провести все соглашения моему зятю Михайле Коньскому, подававшему в прошлом году от моего имени жалобу бану. Он начал

войну, так пусть и заключает мир, если только это возможно.

– Я буду счастлив, – ответил, заискивающе улыбаясь, мадьяр, – приложить печать на документе о примирении двух столь знатных семейств. А доброе предчувствие мне подсказывает, что мир будет.

– Но что бы там ни было, господин Палфи, – резко заключила Уршула, – помните вы и пусть помнит ваш господин, что Уршула Хенинг не любит шуток, и если в этом деле откроется хоть малейший обман, то, клянусь вам, быть беде, пролиться крови! А теперь покойной ночи!

Уршула сделала рукой прощальный жест, Палфи низко поклонился этой странной женщине и ушел отдыхать в комнату, которую слуга Иван приготовил для него в сторожевой башне.

2

Через четыре дня после переговоров с госпожой Уршулой, ранним утром, господин Михайло Палфи вскочил на своего коня перед замком Сусед и махнул на прощанье рукой Михаиле Коньскому, высокому крупному человеку, вышедшему проводить мадьярского гостя.

– Прощайте, egregie domine,[11 - уважаемый господин (лат.).] – сказал посланец Батория улыбаясь, – скоро опять увидимся.

– Буду очень счастлив! – серьезно ответил Коньский, поклонившись.

– И мне приятно, что мы расстаемся дружески. А через два дня я вернусь и привезу Грго Домбоя. Было бы хорошо, если б к тому времени была составлена опись.

– Не беспокойтесь. Об этом я позабочусь.

– Ну, спасибо вам и прощайте! – произнес мадьяр, поклонился и с веселым лицом поскакал по направлению к Загребу.

Господин Палфи не щадил своего коня. Он яростно вонзал ему шпоры в бока, и видно было, что он очень торопился. Не обращая ни на что внимания, промчался он через села Стеневец, Врапче, Черномерец, и лицо его еще более прояснилось, когда из-за склона горы на фоне утреннего неба показалась колокольня церкви св. Краля.

Резко натянув поводья и пригнувшись к шее коня, он еще прибавил ходу, так что крестьяне, шедшие вдоль садов Илицы в город, смотрели на него с удивлением. Сломая голову промчался он через площадь Тридесетницы, под воротами Капитула и остановился перед каменным домом каноника, недалеко от францисканского монастыря. Не дожидаясь, чтобы ему отворили, он быстро соскочил с седла, открыл боковую калитку и вошел в нее, ведя за собой под уздцы коня. Привязав его к столбу, он быстрыми шагами поднялся по лестнице и открыл наружные двери. В комнате, у окна, сидели двое: на скамье – толстый каноник с большим животом и с подбородком, свисавшим на черную рясу; его маленькие серые глаза весело сверкали над крупным, широким носом; возле него, на стуле, сидел худощавый, бледный человек с короткими волосами и подстриженными усами. Он, сгорбившись, смотрел в землю, так что из-под густых бровей не видно было его глаз.

– Слава Иисусу! – отворив дверь, весело крикнул мадьяр и бросил шапку на большую глиняную печь возле входа.

– Во веки веков, аминь! – ответил каноник. – Ваша милость явились, как гром с ясного неба.

– Почему гром? – засмеялся Палфи от всего сердца. – Ну, *admodum reverende*,^[12] – досточтимый (лат.).] тонкая же вы лиса. Зовут вас Стипо Всесвятский, ведете вы себя, как святой, а на самом деле – в тихом омуте черти водятся! Не ожидали, говорите? Ха, ха, ха! Вы, хорваты, как будто научились притворству у турок.

– Эх, знаете, *egregie amice*,^[13] – уважаемый друг (лат.).] – засмеялся каноник, прищурившись, – если не у турок, так уж, наверно, у вас, мадьяр, научились. Уж вы-то на это мастера, вы и ваш господин. Ну, рассказывайте, как вы обделали ваши дела и чем я могу вам помочь!

С этими словами каноник поднялся и, зевнув, посмотрел на приезжего. Его худощавый приятель не шевельнулся, а только взглянул исподлобья на мадьяра.

– Вы меня спрашиваете о делах, *admodum reverende amice!*[14 - досточтимый друг, приятель (лат.).] К черту дела! Едучи сюда верхом из Пожуна, я здорово порастряс свои кости. И чего ради я вообще сюда приехал, *domine* каноник? С турком помериться силами – это еще можно. Но играть в кошки-мышки со старухой – это уж прямо обидно для мужчины, лучше уж травой питаться. Ну, как бы там ни было, начнем во славу божью, если вам угодно.

– Как вам будет угодно, – ответил каноник.

– Но только посмотрите, пожалуйста, чтоб какой-нибудь незванный гость не помешал нам.

– Хорошо, – сказал Стипо, – я прикажу людям никого ко мне не пускать, даже самого святого Петра.

Толстый каноник заковылял к двери и вышел из комнаты.

– *Ergo, domine Georgi,*[15 - Итак, господин Георгий (лат.).] – заговорил Палфи, закручивая ус, – вбили ли вы в голову вашему брату Стипо, о чем идет речь?

– И да и нет, – ответил, кашляя, худощавый. – В подробностях не говорил, а так только намекнул издалека. Не было случая. По вашему указанию я отправился из Суседа в Загреб, как только вы туда приехали. Сказал, что еду в город посоветоваться с врачом. Все поверили, даже Уршула, этот черт в образе женщины. Да и немудрено, ведь лихорадка вцепилась в меня, словно клещами. В первый день брата не было. Он был где-то у святого Ивана «*pro testimonio fide digno*».[16 - для достоверного свидетельства (лат.).] А на второй день сюда нагрянула целая стая почтенных каноников. Тут был и болтливый писака Антун Вrameц, любитель бабьих сплетен, и резкий Фране Филиппович, который языком рубит туркам головы, и Крсто Микулич, Иван Домбрин, Джуро Херешинец и так далее, по синодику. Понятно, что перед этими свидетелями я не смел и пикнуть о желании господина королевского судьи. А теперь вы примчались, и я даже удивлен, как скоро вы успели. Старая Уршула – твердый орешек, законы-то она знает. Я с ней порядком намучился, но никак не мог ее одолеть. Ну, как вышло?

– Да хорошо, *domine Georgi,* – усмехнулся мадьяр, – я и сам себе дивлюсь, что...

В это время вернулся каноник.

– Теперь мы словно погребены, *egregie ac nobilis domine*; мои люди будут всем говорить, что каноник Стипо Всесвятский находится на своем хуторе в Биенике; Давайте начнем, – сказал каноник, положив свои толстые Руки на живот.

Палфи закинул ногу на ногу, подперев голову правой Рукой, сердито покрутил ус и начал:

– Ваш братец, *admodum reverende amice*, вероятно, вам намекнул о *meritum*[17 - суть (лат.).] нашего дела?

Каноник кивнул головой.

– *Bene!* Но для того чтоб дело было крепче, я вам повторю все снова. Вот в чем ваша основная задача: моему вельможному господину Андрии Баторию принадлежит половина Суседа и Стубицы «*secundum donationem domini regis Ferdinandi*».[18 - согласно дару господина короля Фердинанда (лат.).]

– Знаю, – подтвердил каноник.

– *Bene*, – продолжал мадьяр, – мой господин получал одну половину дохода, а другую – семья Хенингов. Частью Батория управлял вот этот ваш брат, Джуро Всесвятский, которого старая Хенинг бранит и проклиняет.

– Знаю, – снова подтвердил каноник.

– Но вот чего вы, почтеннейший *amice* мой, не знаете: мой господин, *judex curiae*,[19 - куриальный судья (лат.).] живет в Пожуне. Ваша Хорватия, *ergo* и Сусед и Стубица, у черта на куличках. Турки уже стучатся в ваши ворота. Вы же заняты междоусобной борьбой. Но судьба – цыганка, и может случиться, что турецкие кони будут молиться богу посреди Загреба, а от Загреба недалеко и до Суседа. Вы – герои, но и героям нужны червонцы, а королевская казна пуста, *ergo* – мой *magnificus*[20 - вельможный (лат.).] боится за Сусед и Стубицу, потому что они висят на волоске. Он рад был бы избавиться от этого имения, но, с другой стороны, не хотел бы ничего терять. В этом вся загвоздка. *Quod consilii?*.[21 - Что посоветовать? (лат.).] Продать, и продать выгодно! Не так ли?

Per se![22 - Для себя (лат.).] Но это не очень-то легко. У старой Уртпулы язык острый, а ногти еще острее; она, брат, ловкий адвокат. Мой господин долго обо всем этом думал, да к тому же нашел и покупателя совсем случайно.

Почтенный господин Стипо слушал рассказ посланца Батория все внимательнее, и его маленькие глаза раскрывались все шире и шире; но он не проронил ни слова.

– Вот как это случилось, – продолжал Палфи. – Восьмого сентября прошлого года пресветлый наш государь Фердинанд короновал в Пожуне своего сына Макса апостолическим королем. Вас, хорватов, был целый отряд во главе с князем Николой Зринским. Знаменосцы стояли как раз у коронационного холма, а во главе их, держа венгерское знамя, великий конюший Фране Тахи, родом также хорват, хотя дед его был мадьяр чистейшей крови. Но господин Тахи забыл свое происхождение, совсем перешел на вашу сторону и вместе с вами бил.

– Да, да, – добавил каноник, – господин Тахи сущий дьявол. Он, конечно, храбрец, но свои его бояться не меньше, чем турки, потому что, куда ступит его нога, там не растет трава.

– Так вот, в то время как главный конюший верхом, держа знамя, потел и морщился от подагры, подъехал на вороном коне *judeh curiae*, мой господин и говорит господину Фране: «Будь здоров, брат Фране, давно, ей-богу, мы не видались! Сидишь ты, словно медведь в своей берлоге, между Дравой и Савой. Как поживаешь?» – «Плохо, брат королевский судья». – «А что случилось?» – «Три беды свалилось, брат Андрия. Во-первых, подагра меня пренеприятно пощипывает, во-вторых, турки нас жмут все сильнее, а третья беда – мой милый шурин Никола Зринский. Он подарил своей сестре, а моей жене, Елене, имение Божяковину, а в этом году обманным путем налетел и выгнал меня оттуда с женой. Хорош брат, а? Никола хуже турка!» – «Я слыхал об этой вашей ссоре. Что ж, Никола всегда будет Николой, а король боится Зринских. Ну и где же ты постоянно проживаешь?» – «Да где попало, как цыган. То в Междумурье, то в Заблаче, то в замке Штеттенберг в Штирии, то на хуторе в Берене. Слава богу, у меня довольно и без Божяковины, но нигде не могу свить себе гнезда, и моя жена Елена все время злится». Тогда Баторий подумал и, как бы невзначай, спросил: «А деньги у тебя, брат, есть?» – «Да, слава богу, нашлась бы малая толика», – ответил Тахи. «Послушай, – продолжал Баторий, – я владею половиной двух имений, там, на краю света – Сусед и Стубица. Сусед стоит на реке Саве, как раз посередине между Штирией и Шомочем. Это райский уголок.

Мне он ни к чему, слишком далеко. Я бы хотел приобрести имение в здешних краях. Купи Сусед и Стубицу». – «За сколько ты отдашь свою часть?» – спросил Тахи. «Дешево, всего за пятьдесят тысяч венгерских флоринов». Тахи закачал головой, намереваясь что-то сказать, но в это время затрубили трубы, молодой король въехал на холм, и стали собираться знаменосцы. Идя, что при таком шуме не до разговоров, мой господин издали крикнул Тахи: «Приезжай ко мне сегодня вечером, поговорим». Так они и расстались, а на другой день мой господин передал мне их разговор, сказав, что продал Тахи свою половину хорватских имений за сорок пять тысяч венгерских флоринов. Что скажете, *amice* каноник? Господин Стипо тер в раздумье свой нос.

– А скажу, – наконец проговорил он, – что тут можно нажить триста бед.

– Почему, *admodum reverende amice*?

– Потому что на пороге Суседа сидит госпожа Уршула, а эта старуха зубаста, как щука. Как же ввести во владение господина конюшего? Хенинги считают это родовым имением, *jure haereditarium*, [23 - наследственное право (лат.)] которое должно при всех обстоятельствах оставаться в семье, и продавать его можно лишь родственникам. Госпожа Уршула будет защищаться ногтями.

– Ну, это пустяки, – язвительно усмехнулся мадьяр, – какие вы, хорваты, чудаки! Ведь что законно? Да все законно – только надо облечь в подходящую форму. По нашему закону, формой все можно оправдать.

– Ну, объясните, – сказал Стипо.

– Какой *jus haereditarium*? Король подарил имение Хенингам и Баториям пополам. *Ergo* – король может разрешить моему господину передать свою часть другому. Фердинанд ведь большой друг моего господина и Тахи, так как он знает, что лишь благодаря Баторию молодой Макс сможет усидеть на венгерском престоле. Он уже почти и обещал ему это. А ввод во владение? Вы ведь знаете, что такое *vis legalis*? [24 - сила закона (лат.)] Я заключил с Уршулой договор, вот он. – И Палфи, вынудив из-за пазухи документ, передал его канонику и, смеясь, добавил: – Читайте, каноник. Умно? Это написал зять старухи, Коньский. Удивительный человек! Я помазал его длинные хорватские усы медом моих речей, и этот загорский болван всему поверил. О Тахи, разумеется, я ни слова. Вашего же брата, конечно, бранил для виду и сказал, что сразу его

прогону. Это им понравилось и пришлось по сердцу старухе. Уршула переезжает дальше в горы, в Стубицу. Сусед будет очищен. Домбруя я уже научил, как себя вести. Наказал ему кланяться старухе, чтоб она ничего не подозревала, а потом мы сразу и введем конюшего во владение.

– Но, позвольте, – ответил каноник, возвращая документ, – по закону королевства Славонии, этот договор должен быть оглашен в собрании сословий, да еще перед баном.

– Брось ты свой славонский закон, – и мадьяр замахал рукой, – мы легко обойдем это препятствие. А бан? Боже мой! Да бан-то кто? Князь Петар Эрдеди. А разве его первая жена не была дочерью Тахи? Хотя она и умерла, а он после женился на Барбаре Алапич, но все же тесть и зять остались друзьями, и крепкими друзьями.

– Да, да, – в раздумье произнес каноник, – но на стороне старой Хенинг подбан Амброз Грегорианец, человек сильный.

– Этого я меньше всего боюсь. Амброз был кастеляном у Николы Зринского. Никола и бан Петар недолюбливают друг друга, с тех пор как сын Николы оставил дочку бана; ergo – Петар ненавидит Амброза; да, кроме того, бан видеть не может подбана – со времени их ссоры из-за самоборских границ. Бан будет на стороне Тахи, а Алапич поддержит бана. Ну что, теперь все ясно, каноник?

– Ясно. Но я-то тут при чем?

– Вы введете во владение господина Тахи.

– Кто? Я? – И каноник отступил на два шага.

– Вы, вы! Подождите, когда Уршула переселится в Стубицу. Получите от Батория договор и возьмете с собой окружного судью, имя которого я вам сообщу после. Когда путь будет свободен, Тахи приедет в Загреб с отрядом своих канижских солдат и с несколькими друзьями. К ночи вы отправитесь в Сусед, введете его во владение; никто протестовать не будет. Тахи займет замок, зарядит пушки, запрет ворота, и тогда пусть госпожа Уршула приходит, если уж она такая любительница железных яблок. Дело, конечно, дойдет до суда; и пусть себе тянется; тем временем старая Хенинг может и умереть, а хорватский бан – зять

Тахи, а Андрия Баторий – королевский судья.

Каноник молча стоял перед Палфи, который вперил в него острый взгляд, в то время как управляющий Джуро Всесвятский, приподняв голову, поглядывал то на брата, то на Михаила Палфи.

– Не могу, – наконец, как бы выдавил из себя каноник, – это дело опасное; никак не могу. Это было бы явным беззаконием.

– Да бросьте вы всегда думать о букве закона, – закричал мадьяр и вскочил. – Помните, что сильные люди, которым вы служите, никогда не дадут вас в обиду. От имени своего господина, князя Андрии Батория, ручаюсь, что вам ничего плохого не будет. Вот вам моя рука!

– Не этой ли рукой вы подписали и договор с Уршулой Хенинг? – спросил серьезно каноник.

Палфи бросил взгляд на священника и, теребя со злостью ус, стал быстро говорить:

– Давайте будем искренни, каноник. *Clara pacta, boni amici*. [25 - Честный договор создает добрых друзей; кредит портит отношения (лат.).] Неужели вы думаете, что мой вельможный господин послал меня сюда для шуток? Он твердо решил, что это дело должно быть так или иначе сделано. Если вы не захотите, найдется, может быть, кто-нибудь другой, например Фране Филиппович, у которого совесть не так упряма. Но я хотел поручить это дело именно вам, ради вашего брата Джуро. Почему? Разве не ясно? У вашего брата куча детей и, говоря откровенно, распутная жена.

– Ваша землячка, – пробормотал, задрожав, каноник.

– Это безразлично, – холодно ответил Палфи. – Он по уши в долгах. И кредиторы его князь Андрия Баторий и Фране Тахи, барон Штеттенбергский. Вот странное совпадение! Джуро Всесвятский жил, значит, от щедрот королевского судьи; а его щедрость велика, даже, может быть, чересчур. Мой господин взял вашего брата управляющим Суседа, а он не только кормился молоком этой жирной коровы, снимая себе все сливки, но и выдоил ее до крови: он обманывал своего хозяина.

Каноник задрожал, а его брат, застонав в отчаянии, еще больше поник головой.

– Да, обманывал, – продолжал мадьяр в сердцах, – мы знаем это из писем госпожи Уршулы, знаем, как он воровал, знаем и больше. Вы ведь любите вашего брата, domine admodum reverende, любите его детей, о них болеет ваше сердце, – я это прекрасно знаю. Так подумайте, что с ним будет; представьте себе, какая беда, какое несчастье, какой позор обрушатся на его голову, стоит лишь королевскому судье мигнуть. Имущество его продадут, дети его пойдут по миру, а дворянское имя будет опозорено. Неужели вы хотите, admodum reverende domine, чтоб ваш герб был перед всем светом запятнан, неужели ваше сердце сможет вынести плач малолетних детей?

Палфи, скрестив руки, наслаждался замешательством каноника, который стоял перед ним молча, глядя себе под ноги. Наконец священник прошептал:

– Господин Палфи, вы жестокий человек, вы человек без сердца!

– Вот тебе на! Без сердца? Вы шутите, что ли? А у вашего брата было сердце, когда он грабил? У меня нет сердца! Боже мой! Человек выказывает ум, а ему говорят, что у него нет сердца! Мой господин хочет во что бы то ни стало, чтоб Тахи был введен во владение. Это должно быть исполнено, понимаете ли, каноник, это должно быть исполнено! А я прекрасно придумал, как этому делу дать ход. Ну да к чему тянуть. Рука руку моет. Вы согласны ввести Тахи или нет? Если вы это сделаете – вашему брату простятся не только грехи, но даже и долги, а бан и Тахи (который имеет среди ваших дворян сильных сторонников) позаботятся о том, чтоб ваш сабор выбрал его судьей. Не захотите сделать – пропадет и честь и имущество, а ваш брат попадет не на кресло судьи, а в тюрьму! Тут не до шуток, не до торговли. Да или нет, каноник? Говорите!

Стино Всесвятский смертельно побледнел, на лбу его выступили крупные капли пота, и он схватился рукой за сердце. Джуро, его брат, медленно поднялся. Лицо его пожелтело, мускулы щек судорожно подергивались; широко раскрытыми глазами он уставился на брата, ожидая услышать из его уст слово помилования или смерти. Каноник молчал. Наконец, Джуро шагнул вперед, стал на колени перед братом, обнял его ноги и закричал раздирающим душу голосом:

– Брат! Брат! Я великий грешник. Знаю, что я не достоин прощения, но пожалей детей моих, моих несчастных детей, которых ты крестил. Они ведь не виноваты!

И, плача, Джуро Всесвятский спрятал голову в колени брата.

– Боже! – вздохнул каноник. – Ты видишь наше горе и несчастье! Если я возьму на душу грех, то не из выгоды, а ради бедных детей. Господи, прости мне этот грех! Встань, брат Джуро! Успокойся! Видишь, что получилось? Говорил я тебе: остерегайся этой красивой черноглазой мадьярки, – кровь у нее горячая, да голова не на месте, свихнется. Вот и изменила она тебе, бросила тебя с детьми, и ты, несчастный, был бы опозорен перед всеми, если б твой брат не спас тебя своим честным именем.

По лицу старика текли горячие слезы, в то время как брат его тоже со слезами целовал ему руки. Палфи, с холодным лицом, холодной душой и окаменелым сердцем, смотрел в окно, скрестив руки на груди.

– Господин Палфи! – прошептал страдальчески каноник.

– Что? – спросил холодно мадьяр, повернув голову.

– Когда господин королевский конюший приедет в Загреб?

– Не знаю. Я вам напишу, *amice* каноник. Во всяком случае, через два-три месяца, не ранее. Тогда и надо будет действовать. Что же, вы решились?

– Да, – едва слышно проговорил каноник, кивнув головой.

– *Vene!* Вы надежный человек! Вашу руку! – сказал Палфи, протягивая Стипо свою руку. Тот схватил ее и опустил низко голову.

– Я сегодня же сообщу моему вельможному господину о вашем решении, – продолжал посланец, – и надеюсь, что он этим будет очень доволен. Вот вам договор королевского судьи с главным конюшим; когда дело будет сделано, князь Баторий вернет Джуро долговые расписки – как свои, так и Тахи. Но надо глядеть в оба, а главное – молчать, чтоб старая Хенинг ничего не заподозрила, иначе она сможет провалить все дело. Вы, *admodum reverende amice*, спокойно ждите. Вы, Джуро, завтра на заре возвращайтесь в Сусед. Не надо, чтоб нас видели вместе. Я туда приеду послезавтра, с Грго Домбром. Приготовьте опись, чтоб все можно было записать и передать *in optima forma*. [26 - в наилучшей

форме (лат.).] Жалованье вы будете получать по-прежнему. Можете жить в Загребе. Я подожду, пока все будет передано по описи, а то как бы старая Хенинг опять не передумала. А теперь, амісе каноник, прощайте. Мы еще увидимся до моего отъезда из Загреба. Пойду поищу Домбоя. Как я рад, что все так хорошо окончилось. Прощайте!

Палфи поклонился с достоинством и стал быстро спускаться по лестнице, до которой его проводил каноник, не проронив ни слова.

3

Третья неделя после пасхи. По склонам хорватского Пригорья в жарких лучах весеннего солнца зеленеет молодой лес; сквозь листву его белеют господские усадьбы. Среди молодого желтого ивняка, сверкая на солнце, стремительно бежит река Сава. Полдень миновал, и солнце склоняется к западу. По голубому небу несутся легкие розоватые облака, иногда заслоняя собой солнце; к юго-востоку из-за облаков местами на равнину падают горячие снопы лучей, местами же стелются по ней огромные тени этих облаков. Воздух кристально чист. Куда ни посмотришь – всюду молодые всходы, веселая, буйная зелень лугов и рощ, а на равнине можно разглядеть, как вдалеке идет по полю молодуха, как по дороге скачет всадник, как стройный, высокий тополь, одиноко стоящий среди ровного поля, бросает свою тень на светлую зелень. А там, к югу, высятся громады со множеством светлых и темных изгибов. Это горы Окич. Одна гора стоит одиноко, поодаль от гряды, и на вершине ее, на фоне ясного неба, вырисовывается замок Окич. Ближе под горой белеют, словно голубки, дома Самобора. Над Самобором блестит жемчужно колокольня церкви св. Анны. От Окича к западу тянутся Краньские горы; в их густых лесах, переливающихся темным багрянцем, виднеются серые круглые башни замка Мокрицы и живописное село Есеница, где находится перевоз господина Грегорианца. На востоке небо понемногу светлеет, а на нем темно-синей полосой вырисовываются Загребские горы, которые спускаются к реке Саве. Тут, у берега на холме, стоит замок Сусед, на стенах которого играет жаркое багровое солнце. Посреди долины лежит село Брдовец. Оно едва заметно. Деревянные избы – седые старушки, – крытые старой соломой, скрываются в густых плодовых садах, уже осыпающих свой бледный цвет. Солнечные лучи с трудом проникают во двор, играют в луже, возле которой переваливается пара желтых пушистых гусенят. И только колокольня церкви возвышается над садами своей

красной шапкой. А какой шум и гам за селом, на лугу! Посмотрите на детвору. Волосы – словно золотистые колосья, круглые лица – как румяные яблоки, на теле – ничего, кроме рубашонок, затянутых кожаными поясками. Прыгают, кричат, хлопают в ладоши и палкой подбрасывают большие мячи; гомон стоит оглушительный; даже смельчак воробей, что сидит на изгороди из цветущего боярышника и ловит золотистых мушек, и тот пугается и перепархивает через плетень. Приятно, тепло, благоухают цветы, и душа человека раскрывается наподобие цветка. Вот смолк орган, народ возвращается от всенощной. Крестьяне и крестьянки быстро идут меж изгородей. Иногда только остановится по пути какая-нибудь кумушка, вся в белом, с красным платком на голове, и, по женскому обычаю, начнет болтать с соседом о морозе, о пряже, о свадьбах...

На краю села, среди слив, стоит изба, подле пес хлев, сарай и навес. Белая, как молодуха в медовый месяц, она покрыта свежей соломой. Деревья густые, и солнце играет только по их вершинам, а под сливами приятный холодок. Возле деревянного крыльца, сразу над землей большая дверь – это погреб; перед дверью стоит стол и две деревянные скамьи. Меж деревьев, на лужайке, около дремлющего лохматого пса, ссорятся дети; на ступеньках крыльца сидит кошка и лапкой умывает белую мордочку, а из коровника выглядывает голова любопытной черной коровы. На всем видно божье благословенье и счастье; и это спокойное счастье ярче всего отражается на румянном лице красивой, дородной женщины, которая, положив на перила крыльца голые круглые локти, темными глазами глядит на этот уголок семейной идиллии. Тело ее бело, как ее одежда, губы сочные и красные, как частая нитка кораллов, что спадает по ее пышной груди; на полном лице нет морщин, а в черных волосах, собранных под медный гребень, ни сединок; на длинных ресницах и на сочных губах иногда дрожит улыбка, сверкают белые зубы; улыбка эта говорит, что и сердце ее озарено радостью. Но взгляд ее загорается еще ярче, когда останавливается на мужчине, стоящем в веселом обществе у стола, возле погреба. Это человек уже не молодой, но крепкий и привлекательный. Росту он такого высокого, что при входе в церковь должен нагибаться. Под открытым воротом белой рубахи широкая, словно из стали отлитая, грудь. На стройной шее – большая круглая голова. Светлые волосы острижены, бороды нет, лишь вдоль энергичного рта свисают длинные седеющие усы – лучшее украшение этого крупного длинного лица, на котором, как два горных костра, горят темно-синие глаза. Боже, какие только бури не обветривали это лицо, какие дожди его не омывали, какой зной его не палил! Оно темно, словно медное, прекрасно и мужественно, как лицо героя. На мужчине надеты только рубаха, штаны и новые опанки. Видно: он у себя дома. Левым локтем он оперся о стену, правой рукой подбоченился, заложил йогу за ногу. Так стоит он и спокойно смотрит на трех мужчин, которые

болтают за полной глиняной кружкой вина. Он говорит мало, слушает внимательно и то задумывается, то улыбается, а то потянет как следует из кружки.

– А что там у вас произошло в Суседе? – спросил мужчина звонким голосом, обращаясь к худому смуглому франту с продолговатым лицом, который, сидя на столе, болтал ногами, чтоб показать свои красивые сапоги с узкими носами и белые вышитые штаны.

– Э, – ответил франт, сдвинув черную шапочку набекрень и согнав муху с ярко-красного жилета, – переезжаем, кум Илия! То есть переезжает наша старуха и барышни Софика, Ката и Анастасия, а я и господин кастелян Фране Пухакович остаемся в Суседе на разводку. Так приказала наша уважаемая госпожа Уршула. Сама же она завтра или послезавтра уезжает в Стубицу.

– Чудеса! – пробормотал маленький, хилый, худощавый человек с головой, похожей на старую корявую иву, с рыжими волосами, торчащими, как сухой тростник. – Чудеса, – повторил он, подперев голову руками и уставившись на франта, – как это старая сова дала себя выкинуть из своего гнезда?

– Э, – сказал франт, щелкнув языком, – даже и мой умишко не может тут ничего распутать. Однако мне кажется, что ее выкурила из Суседа какая-нибудь мадьярская хитрость. И не будь я Андрица Хорват, служащий ее милости госпожи Хенинг, а черный цыган, если это не так.

– А скажи мне, дорогой Андро, – подхватил хозяин, Илия Грегориц, – что на все это говорят господа зятя?

– А бог их знает, – пожав плечами, ответил Андро, – довольны они или нет. Господин Коньский говорил далеко за полночь с тем мадьярским охвостом, которого послал Баторий, а на прощанье они любезно пожали друг другу руки; господина Керечена нет, а из Мокриц неожиданно приехал господин Степко Грегорианец и, сойдя с коня, сильно ударил хлыстом слугу и был, по-видимому, очень Рассержен. Мы потом слышали, как он кричал и стучал по столу, разговаривая со старой Уршулой и Коньским. Чертов сын, такая у него привычка!

– Да, да, – подтвердил брдовецкий сельский судья Иван Хорват, сморщенный старик с подстриженными седыми усами, одетый в синюю суконную одежду,

который до сих пор спокойно сидел, положив обе руки на палку, и неподвижно глядел на дремлющего лохматого пса, – да, да, господин Степан человек неистовый. Это знает все Пригорье, знают и по ту сторону Савы, в краньской Есенине. С тех пор как он женился на нашей барышне Марте, господа в Суседе грызутся, как собаки.

– С него взятки гладки, – проговорил рыжий худощавый Матия Гушетич и засмеялся, оскалив свои зубы, словно волк, – это ведь по-господски, а господам все позволено.

– Я где-то слыхал, – продолжал судья, – что трудно служить двум господам, а мы на собственном горбу испытали правдивость этих слов. Я уж тут тридцать лет мотаюсь по судейским делам, и, видит бог, часто даже трезвый не мог, бывало, сообразить – мужчина я или женщина, до того у меня голова шумела от этих господ. Один тянет туда, другой сюда, а мы стоим, словно распятые, и удары сыплются на наши спины с обеих сторон.

– Не волнуйтесь, дорогой судья, – засмеялся Андро, – теперь удары будут сыпаться только с одной стороны. И суседские и брдовчане принадлежат мадьяру Баторию, а стубичане – моей уважаемой старухе. Вместо старой Хенинг мы с господином Пухаковичем будем только со стороны смотреть, как мадьярские мыши уплетают наше сало. Мы здесь оставлены только как сторожа.

– А кто будет вести хозяйство Батория? – спросил Гушетич.

– А ты этого еще не знаешь, мой хромой Матия? – И франт всплеснул руками. – Разве ты еще не видел толстого Грго, господина Грго Домбрия, который приехал на место Джуро Бсесвятского? Он откуда-то из Междумурья, не разберешь – то ли хорват, то ли мадьяр, но, судя по пузу, весом с откормленного вола. Кума Ката, – обратился франт к женщине на крыльце, – берегите своих гусей, индюшек и поросят, потому что новый управляющий Батория съест их у вас вместе с перьями и щетиной. Его желудок – настоящий поповский кошель. Честное слово, никогда не видел ничего подобного. Этот добрый Грго полдня ест и пьет, а полдня храпит, и вместо того чтоб острым пером писать счета, он макает свои острые усы в вонючее сало. Хозяйство придет в такое состояние, как после нашествия саранчи.

– А что случилось со старым управляющим, господином Всесвятским, – спросила Ката, жена Илии Грегориша.

– Черт его знает, – ответил франт, – ветер унес его бесследно за одну ночь. Говорил, что болен, что ему надо в Загреб, и тому подобное. Знаем мы эти странные болезни, когда здоровый должен глотать горькое лекарство. Но я опять-таки и тут всего не понимаю. Всесвятский, черт бы его побрал, по совести говоря, воровал и вредил, как мартолоз, но всегда работал на пользу Батория, даже под носом у старой Хенинг, которая любила его, как дьявол – восковые свечи. А теперь Баторий его прогоняет. Непонятные дела, не под силу нашим умишкам!..

– Э, будь что будет, – проговорил Илия, – известно, что нам, крестьянам, нечего ожидать райского житья от наших господ; но все же хорошо, что старого управляющего как водой унесло, потому что он был настоящий разбойник, проходимец, который по своему произволу грабил наше убогое достояние. Он и его два помощника – Янко и Никола.

– Ах, да, – вскричал Андро, – чуть не позабыл: ведь и им пришлось заболеть и последовать за старым управляющим в Загреб.

– Чего же лучше, эго счастье, подумаешь! – усмехнулся язвительно Гушетич. – С каждым днем нам все хуже и хуже. Что посадишь, то побьет мороз, а что не побьет мороз, то унесет Сава, а что не унесет Сава, то возьмут господа, а что не возьмут господа, то стащит управляющий, а если что и укроешь от него, то эти последние крохи съест пожунский сборщик податей. Только поспеет хлеб – зовут: иди сперва жать господский; настанет время пахать, а окружный чиновник гонит тебя под Иванич или под Копривницу рыть траншеи; пора собирать виноград, а тебя посылают воевать с турком, и если и вернешься с целой головой, то дом найдешь пустым. К черту такая жизнь!

– Э, мой Мато, – засмеялся Илия, покрутив ус, – ты, конечно, прав; тяжело живется, и каждый крестьянин несет свое бремя; это знает бог. Но мне сдается, что ты-то воевал больше с флягой, чем с янычарами, и не плохо было бы, соседусшка, если б твои ладони были помозолистее – тогда луна не заглядывала бы к тебе сквозь дырявую крышу и сапоги не просили бы каши.

– А ты что за барин, – и Матия скрипнул зубами, бросив на хозяина острый взгляд, – тебе что за дело до моей драной одежды, не ты ведь ее покупал; ты. что ж, считаешь себя лучше оттого, что твоя изба крыта свежей соломой? Ты сумел кое-что припасти, но берегись, кум, еще не прозвонили третий раз к обедне: найдется какой-нибудь господский пес и про твою кость; мой же кошелек пуст, а там, где ничего нет, там и царю нечего взять. Не хвались, после воскресенья ведь бывает пятница.

– Не придирайтесь друг к другу, – пробормотал судья, нелегкая вас побери! Илия верно сказал – счастье, что Всесвятский уехал; во всяком случае, я знаю, какою мнения он был об Илии, он и Никица Голубич. «Эх, только бы мне увидеть Илию на виселице», – говаривал управляющий.

– И нетрудно догадаться почему, – усмехнулся франт, взглянув исподлобья на хозяйку, – у управляющего заболели глаза, так он заглядывался на Катю, и он пришел к ней за лекарством.

– Но когда он до нее дотронулся, – проговорила быстро женщина, покраснев, – то Ката кипятком окропила его грязные руки!

– А Илия благословил его дубиной по спине! – Грегориц засмеялся от всего сердца. – Знаю, что господин Джуро готов был съесть меня, не будь я солдатом, вспыльчивым и горячим, и если бы госпожа Хенинг так обо мне не беспокоилась, а господин подбан Амброз не спасал от этой чумы.

– Говорите, что вам угодно, – равнодушно отрезал Гушетич, – выворачивайте мешок, как хотите, все равно доброго зерна не найдете.

– Ты все видишь в черном свете, кум Матия, – спокойно ответил Илия, – да кто бы хотел жить, не надеясь на лучшее. Видишь, на меня немало бед обрушилось, а я все-таки как-то счастливо вывернулся.

– Ладно, ладно, – Гушетич махнул рукой, – еще не все кончено. Помни, Илия, что я тебе сказал. Дай бог, чтоб я ошибался, но сердце мое не предчувствует ничего хорошего.

Так сидели они перед домом Илии Грегорица и толковали о своих бедах и надеждах, как вдруг на дороге у изгороди показались две весьма несходные

фигуры: девушка лет четырнадцати вела слепого старика с палкой. Она шагала босыми ногами быстро и свободно. Румяная, как спелая вишня, легкая, как птица, девушка подставляла весеннему ветру свое полное продолговатое лицо, на котором отражались и смелость и быстрый ум; ее черные торящие глаза весело смотрели на распутившиеся цветы, две темные косы падали на белую рубашку, вышитую красной шерстью. Так же была вышита и белая юбка, которая, под красным поясом, облегла ее стройный стан. В свежих губах у нее был белый цветок боярышника, а на груди, между красных кораллов, блестело зеркальце. Она шла быстро, словно летела на крыльях, ее девичья грудь вздымалась, глаза блестели; если б не цветок во рту, она заливалась бы, как жаворонок. За девушкой, опираясь на палку, ковылял старик, сморщенный и сухой. Загорелое худощавое лицо его с остатками белой бороды было полно того спокойствия, которое все стерпит, всякое страдание перестрадает и не станет вдаваться в вопросы – есть ли разница между счастьем и несчастьем. Широкая ветхая шляпа сползла старику на шею, на спине, помимо бремени лет, он нес мешок, а у бедра болталась пестрая сумка. Он бил беден, но опрятен. Прежде чем эти двое успели пройти мимо дома Григорича, Ката громко крикнула с крыльца:

– Эй, Яна! Куда это вы с отцом несетесь?

– Да вот, кума Ката, идем домой из села, – ответила девушка, вертя губами цветок, и остановилась; старичок тоже что-то пробормотал.

– Да что у вас дома, беда, что ли, какая стряслась? – продолжала Ката. – Зайдите-ка на минутку к нам: я знаю, что Юрко не повредит глоток вина.

Старик, улыбаясь, закивал головой и опять что то пробормотал.

– Зайти, что ли, отец? – спросила его Яна, повернув к нему голову.

– Что ж, во славу божию, раз сегодня воскресенье, а кума Ката такая добрая душа.

Отец и дочь вошли во двор.

– Слава богу и матери божьей, – приветствовала девушка гостей, а старик пробормотал за ней:

– Слава богу!

– Аминь, – ответил Илия. – Садись, Юрко, садись! Пей на здоровье.

Старик, повернув голову в сторону говорившего, поднял кверху лицо, как бы желая разглядеть хозяина, и, улыбнувшись, добродушно прошептал:

– Бог вознаградит тебя, Илия!

Дочка между тем сняла у него со спины мешок, с головы шляпу и посадила его на скамью; судья подал ему кружку. Юрко отхлебнул два раза, причмокнул и, вернув судье кружку, вытер усы рукавом.

Яна взбежала по ступенькам к куме Кате и облокотилась рядом с ней о крыльцо, не обращая внимания на то, что франт Андро пожирал ее глазами.

– Ну, как, Юрко? – спросил Илия. – Я ведь тебя с пасхи не видел.

– Как? – Старик улыбнулся. – Как траве не жить без росы, так и человеку без глаз. Никто тебя не связывает, а ты словно в темнице; перед тобой дорога ведет на край света, а ты не можешь ступить шагу дальше своего носа. Беда, дорогие мои, беда, когда не видишь ни солнца, ни месяца, ни белого дня! Давно меня не видел, да, да! Не выхожу. Да и зачем? Когда знаешь, что ни к чему людям жаловаться. Но я благодарен богу за то, что подле меня Яна. В прошлом месяце исполнилось десять лет, как я ослеп после черной оспы. Еще покойница была жива, а Яна гонялась по двору за цыплятами. То-то было счастье! Видел я тогда и солнышко, и зеленую травку, и живые человеческие лица, и господа на престоле. А теперь – ничего, так-таки ничего. Жена померла – не видел даже ее могилы, только иногда Яна водит меня на кладбище, и тогда я ощупываю крест. Да, Яна – это добрая душа, кум Илия. Ее глазами гляжу, ее руками кормлюсь, по ее следам хожу, да благословит ее бог! Не будь ее, я бы умер или, не дай господи, сошел бы с ума.

– Отец, дорогой, – прервала его девушка, краснея, – что это вы всегда всем обо мне говорите? Есть тысяча других вещей, да к тому же разве я не ваша дочь?

– Но такой Яницы, как ты, нету, – ответил старик, – нету от Загреба до Брдовца.

– Оставь, Яна, – сказала кума Ката, погладив девушку по голове, – не мешай отцу; это хорошо. Не надо стыдиться добра; а кто творит добро старым, тот готовит себе путь на небо. Дай бог, чтоб дети твоего крестного Илии были похожи на тебя.

– И послал же вам бог славную крестницу, кум Илия, – засмеялся Андро, – зятю Юрко достанется не репейник, а роза. Послушай, Яна, у тебя глаза проворней, чем у твоего отца, не заметили ли они уже какие-нибудь мужские усы?

Девушка смутилась и ничего не ответила, но Ката сказала за нее:

– Эй, Андро, что у вас за скверный язык! Что вам дались Янины глаза? Думаете, это зеркальце для вашего бесстыжего лица? Этот цветок не про вас. Вы должны благодарить бога, если вместо розы получите хотя бы крапиву. Видно по вашей речи, что вы все среди господ бываете и слушаете безбожные слова. Как вам не стыдно!

– Ой, ой, кума Ката, – ответил Андро спокойнее, – отчего это вас моя шутка так задела? Пост ведь кончился, всенощная отошла и можно свободно поболтать. Но послушай, Яна, что ты теперь будешь делать? Старая хозяйка переезжает в Стубицу, а с ней барышни Ката, Анастасия и Софика, твоя молочная сестра. К кому ты теперь будешь ходить в замок, кто тебе будет делать подарки?

Девушка, слегка побледнев, посмотрела на Катю, и на ее глаза навернулись крупные слезы.

– Ну нет! – сказала Яна порывисто. – Я не верю Андро, он что ни скажет, то соврет.

– А все же это правда, – вставил Гушетич, до сих пор спокойно глядевший перед собой.

Девушка отступила на шаг, не переставая смотреть на Катю полными слез глазами.

– Да, да, Яна, на этот раз Андро не соврал, – подтвердила Ката.

Девушка ничего не сказала, но схватилась рукой за сердце.

– Госпожа Уршула вправду переезжает? – спросил Юрко, подняв лицо. – Что за новости? Почему переезжает, и кто приедет на ее место? Храни нас бог от всякого зла, но у меня что-то на душе неспокойно. Я слышал на селе, что в Суседе хозяевами будут только Батории, а что старые господа уезжают. Говорю вам, детушки, быть беде. Я старик, мне ли не знать. Много тяжелых лет пронеслось над моей седой головой, как вода проносится над камнем в ручье, и если б я захотел пересчитать все тяжелые дни, которые пережил старый Сусед, не хватило бы пальцев во всем селе. Но в Доре ли дело?

– Кто эта Дора? – спросил Андрия с любопытством.

– Ты ее должен знать, – ответил слепой, – ты ведь служишь в замке.

– Я знаю только нашу толстую молочницу Дору из Яковля, – и слуга засмеялся, – дурная, ей-богу, исцарапала меня всего, когда я хотел проверить, срослись ли у нее брови на переносице, но не из-за этой же толстухи наступят тяжелые дни.

– Смейся, смейся над стариной, желторотый, – продолжал недовольно старик, – разве может твоя неопытная голова знать о том, что было в старые времена? По-твоему, это все бабы сплетни, не так ли?

– Но, дядя Юрко, и я ничего не знаю о Доре, а за двадцать лет, что я тут живу, я уж, наверно, раз сто бывал в замке, – сказал Илия.

– И выходит, – усмехнулся Юрко, – что вы слепые, а я зрячий. Подойдите поближе да послушайте, что я вам расскажу, – добавил старик тише.

– Было это давно, еще до моего деда и прадеда; да, да раньше их. В Суседе вымерли все мужчины и осталась только одна девушка – Дора. Звали ее красавица Дора, потому что была она прекрасна, как белый снег и красная ягодка, но сердце у нее было змеиное и кровь грешная, – стоило ей заприметить где-нибудь парня – будь то дворянин или кмет, – завладеет им и держит, пока всю кровь из него не высосет, а потом, стыдясь иметь такого свидетеля, отравит его потихоньку. Жила около Суседа одна старушка, бедная вдова, и был у нее единственный сын – кормилец. Сильный, красивый такой, ни один князь во всем королевстве не мог с ним сравниться. Дора и его заметила. Горе ему! Парень

был красив, и Дора красавица. Заполучила его. Когда кровь играет, не разбираешь, кто дворянин, кто кмет. Все люди. Остерегала мать сына: берегись змеи! Да! Остережешься, когда слеп и глух! Раз пошел сын в замок. И стал ходить туда каждый день. Однажды мать ждет до полудня – нет сына; ждет до ночи – нет сына; ждет до зари – все нет. Похолодела. Знала она, что та змея и гладкая и пестрая, глаза что бисер, да зубы ядовитые. Пошла в замок, ворвалась к Доре, требует сына. Дора громко расхохоталась. «Дура, говорит, я им насытилась; сломал он себе шею, ищи его кости». – «Ой, – вскрикнула мать, – бесстыдная женщина! Пропади ты пропадом! Я тебе ничего не могу сделать, потому что ты сильна, а я немощная старуха, но бог, который все видит, все слышит, – может! Он видел твой грех, пусть услышит и мое тебе благословение. Будешь искать мужа – не найти тебе его: а коли найдешь – не иметь тебе сыновей; если и родишь сына – чтоб род его пресекся в первом колене, а дочери чтоб грызлись из-за наследства, как волчицы из-за падали. Женщины владели этим замком, а мужчины его отняли; да будут прокляты это хоромы, будь проклята и ты, кровопийца! Бог тебе не даст ни рая, ни покоя в могиле; будешь ты блуждать по этим несчастным хоромам, как привидение, и сама, исчадие страха, нагонять страх на владельцев; будешь, проклятая, блуждать по этим хоромам, пока от них камня на камне не останется, пока божья кара на них не обрушится!»

Так старуха проклинала Дору, но та смеялась. У Доры было два мужа и один сын. Да... и сын ее Иван женился и взял дочку бана. Но вот Дора стала слабой и старой, успокоилась, кровь остыла, но воспоминание о прошлых грехах не покидало ее, а в сердце остался червь, который точит, пока ты жив, и поедает, когда ты умрешь. Дора плакала, постилась, бичевала себя до крови; сошла с ума и, безумная, бродила по замку, словно привидение, пока, наконец, не выбросилась из того самого окна башни, в которое она когда-то выбросила сына той старухи. И как прокляла ее старая мать, так все и случилось. У сына ее было пятеро детей, из них двое прекрасных сыновей, но они умерли прежде, чем у них выросла борода; остались дочери – род прекратился; вместо крови – молоко, да и то ядовитое. Дочери грызлись из-за наследства; пришли чужеземцы, полилась кровь, много невинной крови. В замке грабили и убивали, а несчастные кметы напрасно взывали к богу. И каждый раз как появляется новый хозяин, каждый раз как встает угроза новых бед – по ночам показывается Дора, бледная, безумная, и плачет, плачет о своих грехах; из сердца ее вылезает золотая змея и просит бога, чтобы он разрушил замок. Немногие знают это сказание; знают пожилые господа, да скрывают от людей. Видели вы старинный портрет в комнате госпожи? На старом полотне изображена красивая женщина. Как сейчас ее вижу. Она в черном, не так ли? На голове золотая корона, вокруг шеи

жемчуг, а в руке яблоко, дар дьявола. Когда глянешь в эти карие томные глаза, мороз пробирает по коже, и стоишь, как пригвожденный к месту. Ты посмотри на нее, Андро, посмотри. И вот, подите же! Несколько времени тому назад я видел старую Дору во сне. Сто раз видал я портрет, когда моя покойная жена была кормилицей барышни Софики, и теперь, во сне, она была, как на портрете, только из сердца у нее выползала золотая змея. Все это уже почти вылетело из моей старой головы, но когда этот мадьяр приезжал к нашей госпоже и убирала комнаты, портрет упал со стены. «Берегитесь! Дора зашевелилась!» – мне это сказал Иван Сабов из замка, а на следующую ночь я видел во сне Дору. Берегитесь, быть беде!

Наступило гробовое молчание; только кума Ката прошептала: «Сохрани нас от напасти!» – и, перекрестившись, увела Яну в дом.

– А, теперь знаю! – первым быстро заговорил Андро. – Это тот старинный портрет в комнате госпожи Уршулы. Ей-богу, Сабов правду сказал. Мы убирала комнаты, портрет упал, и госпожа перепугалась. Вправду упал. Поди ж ты. Я не знал – Мара это или Дора, не знал ничего о всех этих ужасах. Храни нас бог!

– Аминь, – добавил старый судья. – Я тоже не знал о том, что нам сейчас рассказал Юрко, но какое-то проклятие как будто и впрямь тяготеет над замком. Ни тишины, ни покоя, вечно ссоры и споры, так что иной раз хочется сложить свои старые кости в сырую землю. Живем да дни считаем – один хуже другого. Сын спрашивает отца: «Как жилось?» Отец говорит: «Так же плохо, как и теперь». Отец спрашивал деда: «А тебе счастье улыбнулось?», а дед отвечал: «Какое там счастье!» Вот и я говорю себе: сможем ли мы сказать что-нибудь лучшее нашим детям, и будут ли они с нашими внуками вспоминать более счастливые дни? Гм, выходит, Юрко правду сказал, тут не без проклятья. Помилуй нас бог!

Гушетич все это слушал спокойно. Только изредка на лице его появлялась язвительная усмешка. Наконец он потянулся за кружкой, хлебнул как следует и, ударив кулаком по столу, закричал:

– Дурачье! Какая такая Дора? Что за привидения? Какие черти? Какие ангелы? Все это выведенного яйца не стоит, а Юрко спяну приснилось. Зло не от каких-то там привидений, а от живых людей, от господ, которых, как и нас, матери носили, которых, как и нас, попы крестили и которых в конце концов черти унесут. Поверьте мне, я человек бывалый.

– И тебя также, – раздраженно сказал Юрко.

– Ну и пусть, – ответил резко Мато, и краска разлилась по его желтому лицу, – хуже чем здесь, мне там не будет, и если б я действительно не знал, что меня крестил поп и что я имею право слушать орган и всенощную, то я мог бы считать себя скотом, даже хуже скота, потому что скотине господа дают хоть охапку сена, тогда как мы... – Гушетич снова потянул из кружки, – нам хоть глодай вот тот голый камень, что лежит у дороги. Что такое Дора, которая нас бьет, швыряет, топчет и вешает? Да ведь это наше рабство. Вот краньцы – это люди, они уже несколько раз выкуривали свою Дору. Я там бывал. Мне рассказывали, как все произошло. Когда их немецкие господа начали им вбивать гвозди под ногти, они взялись за свою «старую правду», за толстую дубину, и ударили по господским спинам, а когда, на их счастье, им попадались какие-нибудь каменные палаты, они пускали красного петуха, так что господам и зимой становилось жарко. Вот это люди!

– Мато, Мато, – заметил Андро, – от вина у тебя волдыри в мозгу пошли. Попридержи язык, а то уж больно резво он скачет. Я тебя, честное слово, не выдам, да и ни один из нас не выдаст, но если какой-нибудь господский сынок услышит, как ты разглагольствуешь о старой правде, придется тебе почувствовать, чем хороша и чем плоха пеньковая веревка.

– Ну, и что ж? – отрезал Гушетич. – Лучше умереть человеком, чем жить скотом. Я уже сказал тебе, что мне все равно, куда меня черти унесут. А теперь прощайте!

С этими словами Мато вскочил, нахлобучил шляпу и, пошатываясь, направился к селу.

У всех стало тяжело на душе. Вино застревало в горле.

– Пойдем и мы, – сказал судья, – дай бог, чтоб все было хорошо. Прощай, кум Илия!

Сказав это, он подал хозяину руку и пошел с Андрией в село, а немного погодя и Яна повела слепого отца на покой.

Дети вошли в дом, кошка пробралась на кухню, а пес лег под лестницу. Все успокоилось; и когда закат озарил белые цветы боярышника, Илия запер двери.

4

Тихая майская ночь прекрасна, как сон. В траве не слышно сверчков, не чувствуешь ветерка на лице, звезды мерцают в ясном небе. На горизонте высится черная громада мрачных гор, а из-за деревьев на горном кряже то выглянет, то снова спрячется желтая луна, как будто и ей жалко смущать своим светом таинственный ночной мир, который, наподобие гигантской черной паутины, покрывает и горы и доли, и замки и хижины. Если б в кустах не блистал иногда светляк, то можно было бы подумать, что жизнь замерла!

По дороге, ведущей из Загреба в Сусед, ехала телега. Правил лошадыми крестьянин. Седок, казалось, дремал, а возница то напевал, то щелкал языком и понукал лошадей, то умолкал, прислушиваясь, как в темноте шумит Сава. Доехали до места, где дорога под Суседом идет вверх, достигли и вершины. Крестьянин слез, чтоб надеть цепь на колесо. Седок встрепенулся и закричал:

– Что случилось, Илия? Где мы?

– На горе под Суседом, господин священник; тут крутой спуск. Как бы лошади не понесли в Саву, – молоды, горячи, боятся всякого шума.

– Ладно, Илия, держи крепче да гляди в оба!

Илия Грегориш сделал, как сказал брдовацкий священник, сел в телегу, натянул вожжи, и так, потихоньку, поскрипывая колесами, они спустились с горы. У священника уже сон прошел, и, когда под горой телега снопа поехала быстрее, он вступил в разговор с крестьянином.

– Ну спасибо тебе, Илия, за эту услугу, – сказал дружелюбно священник, – у меня были кое-какие свои дела в капитуле, но главное, надо было купить в городе лекарств. Мои все вышли, а больных в селе много. В прошлое воскресенье, после всенощной, я навелел десять человек. Да, доброе ты сделал дело!

– Почему бы мне не оказать вам услуги, господин священник? – ответил весело крестьянин. – От господ никаких распоряжений не было, свои полевые работы я почти что закончил, так как же мне было не услужить вам, когда вы наш друг, утешаете нас и лечите наши раны.

– Ну, как дела дома, как жена и дети? – спросил брдовацкий священник Иван Бабич.

– Все, что есть крещеного под нашей крышей, слава богу, здорово, да и на немую скотину жаловаться не приходится. Хлеба хороши, и виноград много обещает. Если не будет засухи или града, будет и благословение; морозов уже больше не боюсь. В Стубице же им, ей-богу, не повезло. Намедни мой кум, Матия Губец, шел по господским делам в Мокрицы и завернул ко мне. Так он рассказывал, что мороз у них все жестоко побил. Виноградники стоят черные. Госпожа Хенинг, ей-ей, не к добру переехала. А знаете ли вы, господин священник, не в обиду будь сказано, почему старуха убралась из Суседа?

– Не знаю, дорогой Илия, я мало интересуюсь господскими прихотями. Эдак спокойнее.

– Верно, – согласился крестьянин и погнал лошадей.

Они проезжали теперь через село под Суседом. Собаки яростно залаяли из-под заборов, но огней в домах не было видно. Крестьянин продолжал:

– Поглядите-ка, ни одного огонька во всем селе. Они и летом живут, как настоящие барсуки. Ведь, по моему расчету, не больше десяти часов. Так по крайней мере по звездам.

– Верно, – ответил священник.

Илия погнал лошадей быстрее, а когда проехали село Запрешич, снова заговорил:

– Скажите мне, уважаемый господин, что предвещает эта перемена? Вы добры к бедным кметам, вы человек ученый, вы должны знать.

– Кабы знал, дорогой Илия, объяснил бы тебе, в чем тут дело, – ответил священник. – Но господа мне ничего не рассказывают; они (это я говорю только тебе) как-то косо на меня смотрят, потому что я друг крестьянам.

– Знаю, – подтвердил Илия, – бог вас вознаградит, – и добавил тише: – но их...

– Да, будем уповать на бога, сынок, – сказал старый священник спокойно, – будем сохранять хладнокровие, когда все хорошо, и не будем терять рассудка, когда плохо. Средний путь – лучший. И на нем есть ямы, ухабы и камни, – да разве жизнь смертного обходится без несчастий? Но спокойная душа знает, что в этом мире у всякого крест; несем его и мы.

– Эх, ваша милость, – и крестьянин покачал головой, – мы-то ведь его несем за двоих.

– Знаю, – сказал священник, – но бог даст, придут и лучшие времена. В терпении – спасение!

– Эх, уж больно долго длится это терпение! Одни хозяин бросает нас в руки другому, словно мы початки кукурузы, и у каждого в руках остается по несколько зерен, так что в конце концов мы становимся похожими на голый стебель. Хенинги, правда, не пьют пашу кровь, но, поверьте, народ по селам недоволен.

Они уже были вблизи Брдовца, и можно было на фоне неба разглядеть черный силуэт церковной колокольни, как друг из-за придорожных кустов выскочил дюжий детина и, подняв руку, закричал:

– Стой!

Илия одной рукой натянул вожжи, а другой потянулся за пистолетом, который был у него за поясом. Телега остановилась, и священник вскочил на йоги.

– Кто ты? – сердито крикнул Илия. – Зачем пугаешь лошадей?

– Убери руку с пояса, – спокойно ответил незнакомец, нет надобности. Я не турок и не гайдук, а честный человек. Помогите вам бог и святой Никола, люди божьи, и

не досадуйте, что я вас остановил среди темной ночи. Ответьте мне, бога ради, на мои вопросы.

– Говори, – сказал священник, продолжая спокойно стоять в телеге.

Человек приблизился, и так как из-за горы поднялась луна, то при ее свете его можно было разглядеть. Он был высок и худ. Хотя лицо и было освещено лунным светом, трудно было определить, какого оно цвета. Казалось, что вытянутое костлявое лицо с орлиным носом, из-под которого свисали длинные черные усы, так же как открытая грудь были из темной ореховой коры. На голове незнакомца была черная меховая шапка с красным верхом, на плечи накинута безрукавка; лунный свет причудливо играл в его черных глазах, на серебряных пуговицах жилета, на ноже и пистолетах за поясом и на тонкой цепочке длинного ружья, перекинутого через плечо.

– Если хотите знать, люди божьи, – продолжал неизвестный воин, положив правую руку на телегу, – я Марко Кожина, ускор из Сошица, и несу по поручению моего начальника, капитана Йосы Турна из Краньской, письмо господину бану. Не знаю, в чем дело, но мне сдается, что в Крайне неспокойно, хоть наш пресветлый император и заключил с турками мир. Вы знаете, чего стоит слово турка, и поэтому паши ружья должны быть всегда наготове. Ну, что бы там ни было, я несу письмо по приказу; и на прощанье господин капитан сказал мне: «На письмо, Марко, отнеси его бану. Знаю, что ни сам черт, ни тем более турок его у тебя не отнимет. Но помни, молодец, не болтайся зря, – пропадет письмо, пропала и твоя голова». Вот я и пустился в дорогу. Но, люди божьи, и борзая устает, – как же не утомиться человеку. Очутившись перед вашим селом, я почувствовал такую усталость, что начал подумывать, не найдется ли добрая душа, которая Христа ради даст мне ночлег, накормит и напоит. Надо вам сказать, что в наших местах у меня по селам много знакомых, с которыми я сражался против турок под знаменем бана. А здесь – только куры сели на насест – все вымерло, точно какой-нибудь босанский паша опустошал этот край в течение трех дней и трех ночей и истребил весь род людской. Стучишься, стучишься, ни один человек не откликнется, только собаки на тебя лают, словно ты антихристово отродье. Спрятался я с горя за куст – думаю, не пошлет ли бог счастья. Вдруг слышу, телега – подъехали вы. Умоляю вас, не оставьте крещеного на ночной росе. Я, поверьте, не баба. Достаточно меня солнце пекло и дождь поливал, я не жаловался, раз нужда подошла и капитан приказывает. А зря зачем муку терпеть? Ну вот, я вам все сказал, а вы теперь покажите, что у вас есть сердце.

Пока ускок говорил и умолял их, во имя бога, о ночлеге, священник успокоился и сел; Илия, нагнувшись, спросил незнакомца:

– Если ты Марко Ножина из Сошица, скажи-ка мне, где ты воевал?

– Много спрашиваешь, – ответил ускок, – я только это и делаю. Скажу тебе только, что пошел седьмой год с тех пор, как я бился с антихристом Ферхадом под Единой, под командой Ивана Алапича и Иво Ленковича. Это стоит вспомнить, о всяких там перестрелках не следует и говорить.

– А кто был начальником? – продолжал допрашивать Илия.

– Огнян Страхинич.

– Так. А знал ли ты солдата, у которого дом в этом селе, а сам он родом из Лики?

– Честное слово, знал. Ты, верно, думаешь о Мато Гушетиче? Его нельзя назвать богатырем, но сабля его не знает пощады.

– Ну, ты наш человек, – сказал Илия, – вижу, что ты говоришь правду. Мато мне несколько раз упоминал о тебе как о храбром и честном человеке. Садись рядом со мной. Будешь моим гостем, ведь и я тоже провел немало кровавых дней под знаменем бана. Садись, Марко!

Илия обернулся к священнику:

– Не обессудьте, уважаемый господин, я по голосу слышу, что это человек хороший.

– Возьми его с собой, сынок, – сказал старик, – сделаешь доброе дело. Бог велел насыщать голодных, поить алчущих и давать путникам пристанище. Прими его.

– Я знаю, господин священник, что у вас дома все спят и нет огня, – думают, что вы только через два дня вернетесь. Ведь вы, наверно, тоже голодны. И раз на мою долю выпал такой хороший случай – принять во имя божие этого славного молодца, так не сердитесь, если я и вас угощу чем бог послал. Не посмел бы

этого сделать, если б вы уже несколько раз не удостоивали посетить мой убогий кров.

– С радостью, дорогой Илия, – ответил священник, – наш спаситель преломлял хлеб не только с богатыми, но и с убогими. А твой хлеб – честный хлеб.

После этих слов Илия завернул к себе во двор; на крыльцо вышла Ката. Она немало подивилась, увидев в столь поздний час таких неожиданных и странных гостей, но когда Илия ей объяснил, кто такой Марко и как он его подобрал на дороге, голодного и жаждущего, она сейчас же принялась за дело. Хозяйство Илии, который не был уроженцем этого села, было лучше и чище, чем у других крестьян, живших большими семьями и не выделявших сыновей. Гости разместились в просторной горнице за дубовым столом, стоявшим в углу; другой угол был занят большой глиняной печью. Стояли еще две широкие кровати, два расписных ларя и ткацкий станок, а над столом внесло изображение святого Илии, ружье, два турецких пистолета и кожаная сумка.

– Скинь оружие, приятель, – сказал Илия, – довольно ты его потаскал.

– Верно, – Марко улыбнулся, показывая крупные белые зубы, и бросил гунь, торбу и пояс на ларь, а ружье прислонил у окна. Потом, потянувшись, он сел подле священника, который спокойно расположился в углу. Пока гости усаживались, из постели высунулись две русые головки, поглядывая как-то боком, словно мышки, но когда ускок потянулся, они быстро спрятались под одеяло; не испугалась только третья головка, которая показалась из-за большой печи. Это был черноволосый, черноглазый мальчик лет шести, в полотняной рубашонке. Заложив руки за спину, ребенок встал перед усатым Марко и начал его бесцеремонно разглядывать.

– А ты чей будешь, сынок? – спросил воин малыша.

– Я Степко Григорич, – ответил тот серьезно, не моргнув.

– Ну, пошли тебе бог здоровья, сынок! Ты послушный? Молитвы знаешь?

– Знаю, – ответил ребенок, – а ты кто?

– Я воин, сынок.

– А на что тебе оружие?

– Убивать турок.

– Посмотри, вон там ружье, – и малыш показал пальцем на степу, – и мой тятя убивал турок.

– Поди-ка сюда, сынок, – сказал воин и, взяв ребенка, посадил его на колени; малыш молча то смотрел на его длинные усы, то трогал пальцами блестящие пуговицы. В это время Ката внесла ужин, а Илия кувшин вина.

– Иди в постель, – сказала Ката сыну с упреком, – что ты надоедаешь гостю? Тебе не ужинать надо, а спать.

– Оставьте, кума Ката, – перебил ее Марко, погладив малыша, – пусть посидит молодец. Ей-богу, красавчик, весь в мать!

– Он же вам надоедает, кум, вы устали с дороги, – заметила Ката, покраснев от похвалы Марко.

– Оставьте. У меня дома тоже сынок. Глаза, как угольки, здоровый, крепкий, как кизиловое дерево. И когда, бродя по белому свету с ружьем, я встречаю такого соколика, сердце радуется и хочется поцеловать его, как сына.

На глаза у храбреца навернулись слезы, он поцеловал мальчика в лоб и добавил:

– Эх, что поделаешь! Видно, мать меня родила не для того, чтобы мирно глядеть, как растет мое потомство, а для того, чтобы бродить по свету и сносить туркам головы.

– А ну-ка, кум Марко, – пошутила Ката, – бросьте вы турок и турецкую кровь и займитесь-ка моими клетками и нашим вином.

Марко принялся за дело и ел и пил, как настоящий богатырь, а вместе с ним и господин священник подкреплялся так, словно и его родила женщина из горного

племени. Говорил он мало, а все улыбался счастливой улыбкой; да он и не мог бы говорить, так как вино развязало язык Марко, и он пустился в молодецкие рассказы про князя Юро Слуньского, про бана Николу, про Ленковича, про то, как он убивал под Вировитицей, как грабил Винодол и в Лике туркам беды наделал, как его под Единой турецкая сабля полоснула по плечу, а другая в Крбаве разукрасила лицо. Говорил молодец, как сказку сказывал, и пил притом, как королевич Марко у шинкарки Яни. Ребенок слушал его, как попа, разиня рот. Развеселившись, Марко сказал:

– Эх, брат Илия, всем тебя бог наградил. Скажи-ка, святой отец! – обратился он к священнику, – разве нехорошо Илии, разве не живет он, как пчела в полном улье?

– Бог наградил Илию, – сказал священник, – потому что он добрый и терпеливый человек и умеет одолевать всякие невзгоды.

– Это верно, ей-ей! – воскликнул ускор и так ударил по столу кулаком, что мальчик перепугался. – Видно, что он человек стоящий. Но, послушай-ка, Илия, мне твой малыш говорил, что ты стрелял в турок. И по-видимому, малый не выдумывает, потому что вон на стене ружье и пистолеты в серебряной оправе. Хорошее, видать, оружие! Такого плугом не заработаешь, да и ворон из него не стреляют. Бьюсь об заклад, что эти красивые серебряные доспехи были за поясом у какого-нибудь турецкого пограничника и что Илия добыл их в поединке.

– Несомненно, – заметил священник.

– Так оно и есть, брат Марко, – подтвердил Григорич, сидевший рядом с Катой.

– Но как же ты бросил ружье и взялся за плуг, кум? Ну-ка, расскажи!

– Раз ты меня просишь, – ответил Илия, – я расскажу, и не посетуй, если я вернусь несколько вспять. Надо тебе сказать, что родился я не в этом селе, а в Рибнике, там дальше, за Дубовцем, во владении Франкопанов. Франкопаны не плохие господа для кметов: ни кнута, ни побоев. Но они отважны, и кровь у них беспокойная, воют с целым светом; а куда они с саблей, туда и их кметы с ружьями и копьями. Мне, брат, было тогда двадцать лет, кровь-то молодая. Проклятые турки владели Никой, а наши часто и охотно наезжали к ним на

кровавый пир. И у меня явилась охота к этому, привык понемногу к ружью и к ножу, а так как я был молод и храбр, то старшие меня не раз хвалили. Однажды (был тысяча пятьсот тридцать пятый год) мы дошли до Обровца; турки нас потеснили, мы его отдали. Немногие унесли ноги, а меня, раненого, захватили турки. Был я красивый и бедовый парень. Понравился туркам, и они все закричали: «Сделай обрезание, будь нашим». Я сызмальства добрый христианин и душу за деньги не продаю. Но плен – страшная доля, а турецкий – просто смерть! Заковывают, бьют, морят голодом и жаждой; забываешь – человек ты или собака. Трудно мне было, знаешь, очень трудно. Как быть? Сказал турку: «Ладно, буду вашим». Дураки и поверили. Сняли с меня оковы, накормили, напоили, дали денег, а один их почтенный поп стал меня учить, какой великий святой был их пророк. Я слушал все эти длинные литании, как будто меня сам Магомет родил, и вот наступил канун дня, когда мне было назначено обрезание и я должен был растоптать крест. Была ночь, темная ночь. Днем я веселился, угощал турок, ругал (прости меня, господи!) христиан и пил, да так, что они решили, что я совсем опьянел. Закрыв глаза, а они подумали, что я пьяный заснул. Но когда они захрапели, я открыл глаза, взял пистолет, нож и кошелек с цехинами, дополз до реки Земани, а там добрался и до моря. Нашел лодку, дал моряку половину моих цехинов, и он довез меня до Сеня, а оттуда я пришел домой. Прощай, Магомет! Но мне все же никак не сиделось на месте. Снова взялся я за оружие. Стоял со своим отрядом в Дубице. Это было в тысяча пятьсот тридцать восьмом году, когда баном был Петар Кеглевич. Господа Зринские, которым принадлежала Дубица, велели нам защищать ее. Были мы все молодцы как на подбор, но мало нас, а турок – уйма... Десять против одного. Как сейчас помню. Капитан послал около двадцати стрелков Зринского занять лесок над дорогой, по которой должны были пройти турки. Отправились мы на холм с песнями, хотя на душе было вовсе не весело, так как дело шло о нашей голове. Спрятались за дубы, зарядили ружья и стали ждать, что будет. Было, наверно, около полуночи. Луна стояла над рекой Уной, и я смотрел, как на воде играл ее свет. Вдруг послышался отдаленный шум, и вдали запылало. Гляжу, а на той стороне церковь горит. Вскоре на дороге взвился столб пыли. Сомнения не было – идут турки. Я присел за дубом и поставил ружье на колено. Вот из облака пыли показалось несколько всадников. Можно было хорошо разглядеть их чалмы, копья их сверкали в лунном свете. Впереди гарцевал смуглый турок на вороном коне; у седла его болтались две окровавленные головы. У меня застучало сердце, вскипела кровь. Подожди же! Прицелился, нажал курок. Грянул выстрел. Турок прохрипел «аман» и рухнул навзничь, а его вороной взбесился и понес, волоча за собой в стремени полумертвого всадника. Из-за дубов выстрелы вспыхивали один за другим, как молнии, и прямо в гущу турок. Тут падает конь, там всадник; поганые пришли в замешательство, ругались,

кричали. Мы были высоко, а они все на конях. Турок стекалось все больше и больше. Под горой они выстроились, натянули луки, и в лес полетел дождь стрел. Я слышал их свист, слышал, как трещат ветки и падают листья. Пустили стрелы во второй раз. Три воткнулись в мой дуб, а четвертая пронзила шею моего соседа. Он на месте испустил дух. Но наши пули сыпались на турок градом. Ежеминутно какой-нибудь конь взвивался на дыбы, кто-нибудь из всадников валился на землю. Наконец, они спешились, и с криком «аллах!» орава повалила в гору. Первых мы уложили, по за ними шел второй ряд, потом третий, все больше и больше, а по дороге огромное множество их хлынуло по направлению к Дубице. Я крикнул товарищам отступать к замку. Мы стали отходить к Дубице. Слишком поздно! Путь был отрезан. Я потерял товарищей в лесу. Блуждал, блуждал, выжидая, поганые нас разыскивали меж деревьев. Погибать, что ли, зря? Не хотелось. Спрятался в кусты. Отсюда хорошо была слышна сильная стрельба. Наконец, Дубица запылала, турки взяли ее. На заре я спустился на дорогу и направился в сторону Костайницы; все было тихо. Я даже ружья не зарядил. Как вдруг вижу, за мной погнались на копях два босняка.

– Стой, гяур! – крикнул первый. Я хотел защищаться, но в эту минуту второй палицей выбил у меня из рук ружье. Он уже замахнулся, чтобы раскроить мне голову, но первый ему сказал:

– Оставь, Юсуф, продадим его в рабство!

Отняли у меня нож, шапку и плащ, и зашагал я между двух всадников к Дубице. Тяжко мне было. Сто раз на ножах бился, саблями мерился с турками в Крайне, а тут не успел даже выстрелить, как уже попался в плен. Эх, почему у меня не было коня! Вдруг один говорит другому:

– Послушай, Юсуф! Я спущусь к Уне напоить коня, а ты подожди тут и постереги гяура.

– Ладно, Ибрагим, – ответил босняк; Ибрагим ушел. Я присел на пень у дороги. Юсуф тоже слез с коня и сказал: – Эй, гяур! Поди-ка сюда, я тебе свяжу руки, – и, сняв с коня ремень, шагнул ко мне. Смерив его взглядом, я сказал себе: «Ты, Илия, еи-ей, сильнее», и в голове у меня блеснула мысль. Я сделал вид, что протягиваю к нему руки, но в ту же минуту опустил голову и бросился турку между ног. Юсуф упал через меня, я живо перевернулся, вскочил коленями ему на спину и, выхватив у него нож, вонзил его в бок босняка. Ибрагим был довольно далеко и не мог нас видеть. Снял я с мертвеца оружие, доломан и

чалму, спрятал труп в густом кустарнике, засыпал пылью следы крови, вскочил на коня и помчался к Костайнице. Вдруг слышу позади себя крик:

– Эй, Юсуф! Эй, парень! Где ты?

И вижу, Ибрагим скачет вдогонку. Нельзя было показывать ему спину. Я повернул коня и поскакал навстречу. Турок встrepенулся. Видит чалму, доломан, копье, но не видит гяура. Было еще слишком далеко.

– Где же гяур?

– А вот где, – закричал я и выстрелил в голову коню, который свалился и придавил всадника. Долго еще слышались громкие причитания и брань Ибрагима, но я спешил в Костайницу. Когда князь Никола Зринский узнал об этой проделке, то подарил мне десять цехинов и два пистолета и велел служить при себе. И я служил ему; приятно служить герою, а Никола, брат, такой герой, какого не сыщешь между Дравой и Савой. С ним я защищал Зрин, с ним был и под Пештом. Боже мой, то-то было раздолье, когда мы скакали на янычар! Сказать правду, они воины хорошие, и каждый скорее умрет, чем уступит пядь земли. Но и смешные ж они! У каждого в шапку вложена ложка, а шапка-то похожа на мешок. Сперва все шло хорошо – и все ядра, стрелы, ружья и сабли благополучно миновали меня. Но, как говорится, не дремлет нечистая сила. Было это как раз в тот год, когда князь Никола стал баном. Мы в Загребе точили сабли, так как туркам никогда нельзя верить. Мне, ей-ей, надоело бить баклуши. Газ ночью затрубили сбор. Мой хозяин, сапожник, у которого я жил, сильно перепугался, а я схватил саблю, шапку и копье, пожелал ему «покойной ночи», да и был таков. Повел нас сам бан. Ну, думаю, пролиться крови, – потому что когда Никола садится на коня, он уж шутить не станет. Я служил в коннице бана. Шли мы все на север и так спешили, словно нас духи несли. Едва успевали кормить коней. Помнится, шли мы вдоль реки Крапины. У Запрешича присоединилась к нам штирийская конница; вел ее какой-то долговязый шваб со страшной бородой. В пути мой товарищ Мийо Ковачич, почтенный загорец, рассказал мне, что турки взяли Мославину и, пожалуй, прошли уже через Крижевцы к Свети-Ивану, направляясь на Вараждин. Пришли мы к замку Конщина, что недалеко от реки Крапины. Расположились на равнине, а позади пас был лес. Отсюда, сказали, придет турок; и так оно, ей-богу, и вышло. Издалека заметил я их чертовы башки. Все всадники с копьями. Штирийские латники спокойно сидели на своих конях, но мы, всадники Зринского, – не могли! Битва еще не начиналась, и мы стали как бы шутить, забавляться. Мой отряд

подкрался к туркам с фланга. В этой игре не одна чалма осталась пустой. Бан похвалил нас перед своим свояком Тахи, стоявшим рядом с ним, назвал нас молодцами, но игру приказал прекратить, потому что он с турками заключил перемирие. К черту перемирие, когда пришел сражаться! Мой отряд поставил копья, привязал коней, и всадники принялись пить загорское вино. Так же и другие войска. На турок мы не обращали внимания; нехристи стояли напротив, в лесу. Я был зол, лег на брюхо в траву, возле своего коня, которого привязал к старому грабу. Солнце пригревает спину, а я лежу и смотрю кругом. В это время мимо меня проезжает бан. «Эй, Илия, – закричал он смеясь, – что ты тут баклуши бьешь?» – «Ваша милость, – отвечаю я, – мне охота драться». – «Погоди, будет и драка», – говорит бан.

Ждать пришлось недолго. Вдруг раздался такой шум и гам, словно все черти вырвались из преисподней. Обманул нас турок, нарушил мир.

– Накажи его бог! – закричал Марко, ударив кулаком о стол, а глаза его засверкали, как у дикой кошки. – Что же, вы дали ему за это?

– Какого черта! – продолжал Илия. – Не мы ему, а он нам дал. Я, право, и не знаю, как это случилось. Вижу только, что турки прут из лесу, как муравьи. Каналья заключил перемирие в ожидании, что к нему подойдет сильная подмога. Я вскочил на коня, схватил копье, шапка у меня свалилась, но было не до того, и бросился с голой головой на турка. Блеск, пыль, гром, ничего не видно, кроме копий, сабель и стрел; все это вертелось в каком-то клубке, пока не прилетело железное яблоко и не разметало толпу. Сабля бана сверкала как молния. Я прямо остервенел. Спервоначально немного дрожь пробирает, когда дело идет о твоей голове, ну а потом делаешься зверем. Наши всадники мчались, как черти, через кусты, через трупы людей и лошадей; а штирийцы так лупили турок, что весь лес гудел. Но вдруг (эх, я чуть не заплакал!) вижу: наша пехота без оглядки бежит. Труссы! Накажи их бог! Бросает ружья, патроны, сумки и шапки, словно сеет их. Саблями наголо мы стали гнать ее назад, и я своими глазами видел, как бан рассек голову одному пищальнику. Все напрасно. Бегут, сукины дети! Бегут в лес и нас тянут за собой. Турки прут отовсюду – спереди, справа и слева. Чисто саранча. Так и победили нас, канальи, обманом!

– А ты? – спросил Марко.

– Я, понятно, отступил с другими к лесу. И почти что спасся. Но в недобрый час пуля сразила моего коня. Я упал, ударился о пень, потерял сознание. А когда

пришел в себя, то понял, что попал к туркам в плен. Будь здоров, Илия! Некогда было раздумывать о своем несчастье. Нас, пленных, собрали и, как скот, погнали в оковах в Дубицу, Баня-Луку, Дринополе и в Стамбул, где сидит турецкий султан. По дороге сняли с нас все до рубахи, били кнутом; спали мы на камнях под открытым небом, кормили нас крошками черствого черного хлеба. Оковы врезались до крови; половина из нас погибла в пути. Боже мой, и сколько же стран я, несчастный, прошел! Но, кроме своей беды, почти ничего не замечал. Однако это еще не было концом мучений. В Стамбуле нас бросили в вонючее подземелье и отсюда должны были распределить на галеры, на которых, закованные, мы бы и гребли до самой смерти. Значит, всему конец! Настал день, когда нас должны были вести на галеры. Вывели во двор. Я съежился, скорчился, как настоящий Лазарь, и стал причитать. Ко мне подошел какой-то старый турок, должно быть офицер, и спросил по-хорватски: «Ты что скулишь, мошенник?» Меня как громом поразило. Да и не мудрено, когда среди чужого тьяканья услышишь родную речь. «Напала на меня тяжкая болезнь, господин, – ответил я, – колет, болит, едва на ногах держусь». – «А откуда ты родом, гяур?» – «Я хорват, почтенный ага, из владений Франкопана». Турок подумал, оглядел меня и сказал часовому что-то по-турецки. Не знаю, о чем они говорили, но под вечер часовой вывел меня со двора и тесными улицами провел к большому дворцу. Тут он похлопал в ладоши, передал меня привратнику-негру, который повел на верхний этаж к хозяину. Это был тот самый старый турок. Он сказал мне по-хорватски: «Слушай, гяур, ты не пойдешь на галеру; ты мой раб и будешь работать в саду». Подумайте, господин священник, как я был счастлив. Я забыл о тяжелых оковах, забыл, что стою перед хозяином; сердце мое развеселилось, и я спросил старика: «А ты, почтенный ага, не сын ли нашего народа и нашей страны?» Старик побледнел, покраснел, отвернулся и махнул рукой: «Ступай!» С тех пор я его больше не видел. Проводил я дни за высокой стеной, поливая цветы и вырывая сорную траву. Боже, что за дурацкая работа для воина! От скуки и злости я иногда рубил головки цветам, воображая, что это турки. Нас, рабов, часто водили в город за покупками для хозяина. Как-то раз по дороге на базар познакомился я с моряком из Венеции, понимавшим по-хорватски, потому что он был далматинец. Я поведал ему о своей беде. Он и говорит: «Это дело поправимое, земляк». – «Как?» – «А здесь за деньги можно все сделать, я подумаю!» Через несколько дней я его снова встретил, и он говорит мне: «На, возьми, это бутыль ракии, ее сам черт сварил. Угости привратника и садовника, да так, чтобы они упились, как скоты, а я тебя буду поджидать перед дворцом». Сказано – сделано. Напоил я чернолицых пьяниц. Ракия их одолела, а я схватил топор, разбил оковы, так что кровь пошла, и выломал двери. Далматинец сдержал слово. Под покровом темноты добрался я до судна, а через два дня ветер помчал нас домой. Когда наши меня увидели,

решили, что мертвый встал из могилы. Но я сказал, что я живой и что с меня довольно шуток. До трех раз бог помогает, а в четвертый может и черт попутать. Тогда я бросил солдатскую жизнь, но с той поры за мной осталась кличка «Беглец», потому что я три раза бежал из турецкого плена.

– Ты, ей-богу, герой, и даже больший, чем я, – сказал Марко, глядя на Илию с восхищением, – жаль, что ты бросил ружье, потому что такие люди, как ты, не каждый день рождаются. Эй, вернись-ка!

– Что вы соблазняете моего мужа, Марко, – перебила быстро Ката, схватив Илию за руку.

– Не бойся, родная, – и Илия улыбнулся спокойно, – я в жизни испытал довольно мучений и теперь хочу отдохнуть возле моей милой.

Ускок опустил голову и задумался.

– Да, – сказал он наконец, – человек похож на пробку, плавающую на воде. Вода его носит туда-сюда. Счастлив тот, кто выплывает. Не так ли, отец святой?

– Человек предполагает, а бог располагает. Милость божья велика и не покидает добрых людей, – ответил священник.

– А как ты попал сюда? – спросил ускок.

– А так, случайно. Я и раньше знал эти края. Дома, в Рибнике, все мои померли, кроме брата Николы, которым я как раз похвастаться не могу. Бан разрешил мне не нести барщину, а служить где хочу. Пришел я сюда, служить госпоже Хенинг, по рекомендации господина подбана Амброза, тому девятнадцать лет. Потом дали мне эту усадьбу; и так как тут было пусто, я сказал себе: надо жениться, Илия. Скоро представился случай. Однажды пошел я по хозяйскому делу в Пищец, в Штирию, в дом некоего Освальда, который покупал у господ вино. У Освальда была славная служанка, – вот она, моя жена. Околдовала она меня, и я спросил ее: «Пошла бы ты за меня, Ката?» А она вместо ответа скинула черную штирийскую юбку, надела опанки и оплечак. Так мы встретились, так поженились, тому будет девять лет на масленице, и, ей-богу, даже во сне никогда не пожалел, что из штирийки сделал хорватку.

– Ну, это прекрасно. Послал вам бог счастья, дай вам бог и здоровья! – И ускорил поднял кружку. – Хороший ты человек, Илия, и, если ты согласен, давай поцелуемся крепко и побратаемся.

– Давай, Марко! – сказал Илия, протягивая ему руку.

– За молодецкое здоровье, за молодецкую честь, дорогой Илия! Вот кладу руку на голову твоего сына и клянусь богом и святым Николой быть тебе братом в счастье и несчастье, твоей жене быть вместо брата, а твоим детям – вместо отца. Моя правая рука – твоя надежда, моя молодецкая честь – твоя защита. Если я нарушу клятву, пусть бог не даст счастья ни мне, ни моему потомству. А ты, отец святой, благослови!

– Слово крепко, как бог свят, – ответил Илия.

– Аминь! – заключил священник с кротким лицом и благословил старых героев и новых братьев.

5

Возле старой ратуши, напротив женского монастыря св. Клары, стоит дворец князей Эрдеди. Первого августа 1564 года сюда спешно прибыл бан Петар из своего имения Желина. Вероятно, по срочному делу. Петар, в дурном настроении, с заложенными за спину руками, шагает взад и вперед по просторной комнате. Его ясные синие глаза устремлены на каменные плиты пола; он то поглаживает длинную светлую бороду, то проводит рукой по коротким волосам и высокому нахмуренному лбу. Лицо бана осунулось, пожелтело; он, видимо, много пережил; он задумчив, его гнетет какая-то забота. Он не обращает внимания на то, что его длинный вишневый камзол запылен, бирюзовые пуговицы кое-где расстегнуты, что его высокие сапоги из грубой кожи в грязи; он даже не замечает женщины, которая сидит у окна на расписном ларе и держит на руках трехлетнего мальчика. Женщине можно дать лет двадцать семь. Она довольно полная, с румяным лицом и черными волосами; глаза у нее словно черные вишни, но в них нет души. Черты лица ее грубоваты, лоб не выказывает ума, толстые губы и короткий нос изобличают гордость, даже высокомерие. Да и не удивительно! Она супруга бана, вторая жена Петара

Эрдеди и дочь славного героя Ивана Алапича. Она не умна, но, пожалуй, несколько хитра, как все дочери Евы. По всему видно, что это жена бана и важная дама, хоть она только что с дороги. На ней кунтуш из черного Дамаска, отороченный куньим мехом. Из-под кунтуша стелется сборчатая юбка, из гранатового сукна. Из-под юбки виднеются довольно толстые ноги в желтых башмаках с узкими носками, положенные одна на другую. На шее кунтуш застегнут двумя литыми серебряными бляхами: на одной изображен герб Эрдеди – наверху пол-оленья, внизу полколеса; на другой герб Алапичей – корона и над ней железная рука, которая замахивается саблей на звезду. Ее густые волосы покрывает бархатная шапочка, вышитая жемчугом. Склонив голову, жена бана глядит на своего ребенка, который вырывается из ее рук, и гладит его златокудрую головку. Мать ласково смотрит на сына, слегка улыбается, и лицо ее озаряется нежностью. Может быть, в этом малыше она видит залог своего счастья. Вдруг она поднимает голову, открывает крупный рот и, пристально глядя на бана, говорит:

– Господин Петар, друг мой! Что с вами? От Желина до Загреба вы не проронили ни слова, да и сейчас шагаете по комнате молчаливый и задумчивый, как будто тут нет ни вашего сына, ни вашей жены. Что с вами?

– Барбара, жена моя, – ответил бан, подходя к ней и лаская сына, – не спрашивай. Эти заботы не для женского ума, здесь нужна железная голова, голова мужчины.

– Ну вот, – продолжала вкрадчиво Барбара, – значит, твоя жена ничего не стоит? Глупа, что ли? Но ты неправильно судишь, мой друг! Ты не знаешь, что такое женщина. Сердце женщины не может биться спокойно, когда мужчина хмурит лоб; женский глаз легко читает в вашей душе, даже без помощи святого духа.

– А что же читает твой глаз? – спросил Петар.

– Отгадать?

– Отгадай, госпожа супруга бана, – сказал, улыбаясь, бан.

– Вы думаете о том, каков будет новый король Макс.

– Пожалуй. А еще что?

– И сердитесь на Николу Зринского.

– Не говори мне о нем, – отрезал недовольно Петар, быстро отвернувшись к окну.

– Вот и угадала! – сказала Барбара живее. – Да, вы сердитесь на князя Николу, потому что он для вас вечная помеха. И это верно. Этот ростовщик, эта рвань отравляет вам жизнь. Разве не обманул он вас, как настоящий гайдук? Сосватал за своего сына Джуро вашу дочь Анку, и по этому случаю вы ему передали мадьярские замки.

– Все это дело рук его покойной жены Каты Франкопан и моей покойной жены Маргариты Тахи, а ее научила тетка Ела; мне же нужны были деньги.

– И к чему же привели эти женские хитрости? Твоя Анка была оставлена, Джуро женился на немке Арко, а Никола тебе ничего не вернул и только вовлек тебя в тяжбу с Грегорианцами.

– Оставим это, Барбара, – ответил бан, – это старая история, и не она меня заботит; да и со Зринским я помирился.

– На словах, но не в сердце, – заметила язвительно жена бана, – а вот у меня голова полна забот, потому что и я и сыновья мои Петар и Томо обобраны. Разве этот жадный Никола не хотел отнять у меня и Цесарград? Но погоди еще несколько месяцев, когда он женится на этой пышной чешке Еве Розенберг, у которой, говорят, целые мешки пражских денег. Вот тогда-то и покажет себя владелец Озаля! А разве Грегорианцы сейчас на тебя зубы не точат?

– Правда, – ответил бан, – я никогда не забуду князю Николе того, что он осрамил мою родственницу, дочь Бакача, и не думаю, что наши два рода могли бы когда-либо искренне помириться, но я достаточно силен, чтобы обуздать Грегорианцев. Меня не мучит забота обо всем этом. Но я ненавижу Николу, потому что всюду он стоит на моем пути и делает вид, что я для него как бан не существую. Был он баном – от банства отказался, был королевским капитаном – и от этого отказался. Король Фердинанд его очень боялся. Убил Кациянара – и ничего ему за что не было; турки сами говорили королю, что они его подкупили. Я этому не верю, но надеялся, что уже из-за одного подозрения он впадет в немилость; однако опять ему ничего не было... да, впрочем, он получил все

Междумурье. В прошлом месяце умер Фердинанд; сын его Макс созвал, как я слышал, государственный совет в Пожуне, чтоб переговорить об угрозе от турок. Что ж, позвал он меня, бана? Нет. А позвал Николу, опять Николу, который «и храбр, и славен, и знатен». Не поймешь этого человека: то запрячется в один из своих замков, отказывается от почестей, противится королю, а потом как вскочит, как начнет швырять деньгами да бить турок, – ну, народ его и прославляет. Никола ведет себя с королем, как девушка, которая отнекивается и прячется от любимого, чтоб его больше раззадорить. Он стоит у меня на пути; он меня заслоняет, но что я могу поделать, – он герой, он могуществен, за ним стоит сильная партия. Вот почему я ненавижу его.

– Но разве нельзя победить эту партию? – спросила Барбара.

– Трудно. Может быть... Попробую.

– Как? – спросила она с любопытством.

– Никола на ножах со своим свояком Тахи. У Тахи здесь много приверженцев, да и при дворе у него есть друзья; он станет на мою сторону, он мне поможет. Из-за него-то я и приехал.

– Из-за него? – спросила женщина удивленно.

Петар собирался уже отвечать, но вдруг повернул голову в сторону двери, за которой слышались громкие голоса. Вошел слуга и доложил, что господин подбан и какая-то пожилая дама хотят видеть бана. Слегка смутившись, Петар проговорил внушительно:

– Скажи, что не хочу... Нет, что не могу, что у меня срочные дела... Никак невозможно!

Но в эту минуту дверь позади слуги отворилась. В комнату стремительно вошел высокий красивый старик, лысый, смуглый, с длинной седой бородой и серьезным гордым лицом. Отстранив слугу, он шагнул вперед, а за ним вошла госпожа Уршула Хенинг, бледная, гневная и заплаканная. Петар вздрогнул и изменился в лице.

– Magnifice domine бан, – произнес спокойно и отчетливо старик, – простите! Слышал, что у вас дела. Но самое важное для вас дело – это то, с которым пришел я. Произошло нечто неслыханное – разбой. Бан в нашей стране – все равно что король, должен во всякое время охранять справедливость, для него ничего не может быть более важного.

Бан нахмурился и окинул пришельцев злым взглядом, но старик гордо поднял голову и спокойно смотрел на Петара, заложив руки за широкий серебряный пояс, охватывавший его камзол.

– Что вам угодно, domine Ambrosi? – спросил серьезно Петар, в то время как жена его кидала быстрые взгляды то на подбана, то на его спутницу.

– Для себя – ничего, – ответил Амброз Грегорианец, – но я ваш заместитель, я привел к вам эту благородную даму, которая намерена просить вас о многом...

– Которая вынуждена просить обо всем... – воскликнула Уршула, едва дыша от злобы. – Прошу обо всем, бан, потому что всего лишилась. Вы, конечно, знаете, кто я.

Петар кивнул головой и сказал вполголоса:

– Говорите, госпожа Хенинг.

– Да, я буду говорить, – вспыхнула Уршула, подняв голову и положив руку на кипевшую гневом грудь. – Не знаю, с чего начать, что сказать. Змея лютая легла на мое сердце, боль и горечь сжимают горло. Простите! Какой грех, какой позор! Но вы меня выслушаете, не правда ли? Вы должны меня выслушать, потому что я женщина, вдова, мать, потому что я умею быть и львицей. Слушайте же, прошу вас! Если на вас в лесу набросится человек и сорвет с вас золотую цепочку, вы скажете: это разбойник, таково уж его ремесло; если я его поймаю, то потащу на виселицу. Если зимой на вас нападет голодный волк, вы скажете: это бессловесная бешеная тварь, таков уж его нрав, и пулей прострелите ему голову. Если на вас в поле налетит дерзкий турок, вы скажете: это враг креста и моей свободы, и лихой саблей отрубите ему голову. Все это естественно. Но что вы скажете, когда крещеный человек обольщает несчастных родственников поцелуем Иуды, когда главный судья в королевстве вымогает обманным путем договор у вдовы, а потом рвет его, топчет и плюет на свой древний герб? Что?

Что вы скажете, когда седобородый вельможа, который рядом с королем носит его королевское знамя, темной ночью, тайно, словно разбойник, выгоняет несчастную вдову с детьми из старого родового гнезда прямо на голую землю, на жесткие камни, без всего? Это неестественно, это бесчеловечно; так поступают звери, дьяволы! Что вы на это скажете, domine бан, что?

Петар Эрдеди ничего не ответил.

– Я вижу, вы меня не понимаете, – продолжала Уршула, – я, наверно, говорю глупо! Язык заплетается, я потеряла разум. Да и может ли быть иначе? Я почти потеряла веру в бога. Я постараюсь успокоиться. Слушайте. Вот как было дело. Баторий заключил со мной договор; вы это, вероятно, знаете?

– Знаю, – ответил бан, спокойно глядя на разгневанную женщину.

– Согласно договору, я переехала жить в Стубицу, и это вы знаете.

Бан подтвердил.

– И вот что произошло. Некоторое время мы хозяйничали спокойно, как было договорено. Я была счастлива, что настал мир; и была глупа, что поверила. Неделью тому назад я поехала с детьми погостить в Брезовицу. Там со своей второй женой, Дорой Мрнявич, живет господин Амброз Грегорианец, свекор моей дочери. Еду назад, приезжаю в Загреб. Тут ко мне является бледный, взволнованный зять мой Степко и кричит: «Теща, убей их бог, они ограбили вас! Я узнал, что Баторий тайно продал Тахи все имение, и свою и вашу часть. Намедни хитростью удалил ваших людей из Стубицы. Ночью приехал каноник Всесвятский и судья Моисей Хумский и ввели Тахи во владение всем поместьем. Вещи ваши выбросили. Никто не протестовал. Тахи засел в вашем родовом гнезде. Все это я узнал в городе, в доме князя Коньского». Так сказал мой зять Степко... У меня потемнело в глазах. Я закричала: «Зять, ты с ума сошел, ты лжешь!» И нарочно засмеялась. Но это была не ложь, а сущая правда. Села я в экипаж и поехала по направлению к Суседу. Смотрю, а на башне развевается не знамя Батория или Хенинга, а черный лев на синем поле; да вы его знаете, это знамя вашего первого тестя. И когда я подъехала к замку, когда постучала в ворота, то в окне показался этот черт Петар Петричевич и крикнул: «Идите себе с богом, госпожа, это замок достопочтеннейшего господина Ферко Тахи, а я его кастелян». Ворота так и не открылись, а под горой я нашла раненым своего

слугу, Андрию Хорвата, которого Тахи прогнал из замка. Он мне подтвердил все, что сказал Степко. Сердце у меня закипело, но я смолчала. Что могла сделать женщина с тремя девушками против твердыни, полной слуг и солдат? Так ночью мы приехали в Стубицу, в нашу Стубицу. И опять мне кто-то из замка крикнул сквозь смех: «Это принадлежит Тахи», а все мое несчастное имущество валялось под стенами замка под открытым небом. У меня не было ни дома, ни приюта, не было даже того, что имеет последний мой кмет. Боже! Согрешила я тогда. Прокляла день, прокляла ночь, прокляла мир, все прокляла! Ох, не дай бог ни вам, ни вашим детям дожить и пережить такую ночь. Не всякий ветер сгибает меня. Но эта стрела пронзила мое сердце. Господин Джуро Рагдкай принял меня на ночь; потом я поехала к своему зятю Степко, в Мокрицы, а сегодня пришла к вам, domine бан, и взываю во всеуслышание: верните мне отнятое родовое гнездо, защитите вдову, защитите сирот, решите это быстро, мечом, докажите, что на свете есть еще правда, что жадный зверь не смеет вырывать изо рта у несчастных их насущный хлеб. Бан! Во имя чести королевства Славонии я обвиняю перед вами Тахи в разбое! Правды прошу, правды!

Голос изменил женщине. Дрожа всем телом, сжимая свои сильные руки на взволнованной груди, стояла Уршула перед баном. Лицо ее пылало, губы тряслись, глаза сверкали. Стоявший рядом с ней, как каменное изваяние, подбан Амброз кратко сказал:

– Все, что говорила эта благородная дама, сущая правда, клянусь честью!

Бан молча глядел в землю; наконец он проговорил:

– Возможно, верю, что все это правда. Господин Тахи поступил не умно. Но у нас в королевстве есть, слава богу, судьи и законы, а судьей вместо короля являюсь я. Но здесь не суд, и вы, благородная госпожа, должны будете доказать все, что вы сейчас сказали. Тяжба должна идти законным путем. Кроме того, надо расследовать, в какой мере князь Баторий нарушил закон. Должен вам еще сказать, что *iudex curiae* неподсуден бану. Все это, значит, надо хорошенько расследовать.

Уршула отступила на два-три шага, широко раскрыла глаза и посмотрела на бана, а старик Амброз нахмурил брови.

– Так вот ваша правда, ваш суд? Я должна все доказать? Да разве надо доказывать, что солнце сияет в небе? Действовал ли Баторий законно, когда убил человека? Законная тяжба! Ох, знаю я, что это значит. Знаю я, какими путями идет эта правда. Кривыми, долгими, узкими, где на каждом шагу зияет пропасть. Законная тяжба, говорите вы, хорватский бан? Да разве разбойник заслуживает что-нибудь, кроме виселицы? Ваша законная тяжба будет тянуться сто лет, и я и мои дети подохнем с голоду! – взвизгнула Уршула и закрыла руками мокрое от слез лицо. – Но, говорю вам, бан, – и она резко выпрямилась – вы судите неправильно, не как хорватский бан, а как зять Тахи; это не правосудие *juris civilis*, [27 - по гражданскому праву (лат.).] а насилие, это *nota infidelitalis*, [28 - знак вероломства (лат.).] это преступление, в котором и вы становитесь виновным...

– Госпожа Хенинг, – вспыхнул Эрдеди, и яркая краска залила его лицо, – обуздайте ваш язык, вспомните, что перед вами королевский наместник и что в моем лице вы оскорбили и короля.

– Не боюсь я вас, дорогой мой бан, – взвизгнула Уршула, подняв кулак. – Прикрывайте сколько хотите ваши собственные интриги плащом его королевского величества – не боюсь я вас; я сброшу эту высокую защиту, расшатаю столбы, на которых покоится ваша ложная правда, и пусть узнают, что весы вашего правосудия изъедены ржавчиной, а ваши законы – червями. Вы сражаетесь с турками во имя святого креста, а сами клятвопреступничаете, вы сами – турки! И чего вы стараетесь? Бан Петар. ваше преступление падет на вас, на вашу жену, на ваших детей...

Услышав это, жена бана, еще теснее прижав к себе ребенка, вскочила. Ее черные глаза загорелись злым огнем.

– Пусть отсохнет ваш язык, госпожа Хенинг! – крикнула она.

– Довольно, – загремел Петар, шагнув к Уршуле, – я вам повторяю – здесь не суд. Подайте жалобу, как того требует закон. У вас есть и адвокат – господин Амброз опытный юрист.

У подбана задрожали веки, его лицо побагровело. Спокойно, но громко он проговорил:

– Magnifice domine! Госпожа Хенинг сказала правду. Это не имущественный спор, это преступление. Бан! Неужели вы не хотите прийти на помощь этой вдове?

– Via juris,[29 - Законным путем (лат.).] – сухо ответил бан. – Это все, что я могу вам сказать, господин адвокат!

Амброз вздрогнул, ноздри его расширились, он сжал губы, помолчал, а потом сказал:

– Magnice domine бан! Да, я буду ее адвокатом, так как убедился, что ваша богиня правосудия хромает. Это говорю вам я, подбан. Родственные связи туманят вам глаза. Горе отчизне, горе народу, где грубый обман и дикий произвол дерзают укрываться под сень правосудия. И хоть вы и князь Петар Эрдеди и жезл вашей власти расточает гром, я его схвачу и сломаю, чтоб он не мог больше позорить дворянство и чтоб эта страна, сто раз растоптанная, не была добычей неумной алчности господ.

– Ха-ха! – засмеялся бан, смертельно побледнев. – Завыл старый волк из замка Медведь, сподвижник Николы Зринского; но пусть этот хитрый бывший кастелян остерегается моей железной руки.

– Да, – сказал Амброз, – суровой расправой отомстит старый волк за поруганное право.

– Да, видит бог, – крикнула Уршула, – и старая Хенинг поднимется. Прощайте! Готовься, бан! У меня зубы железные.

– Прощайте, – воскликнул бан. – Петар Эрдеди не боится ни бабьих набегов, ни стариковских проклятий.

Амброз и Уршула быстро вышли во двор, а Петар устало прошептал Барбаре:

– Ну вот, выстрел грянул! Я знал, что буря надвигалась. Тахи мой, я докажу этим трусливым сливарам, что Петар Эрдеди все-таки бан, пусть даже ценою боев и крови!

На расстоянии приблизительно двух ружейных выстрелов за церковью Верхней Стубицы, по направлению к селу Голубовцу, стоит, словно прислонившись к горе, небольшой дом. Трудно сказать – крестьянский он или господский. Дом каменный, с дощатой крышей. Позади него, на горе, зеленеет виноградник, а по бокам прячутся в кустах амбар, хлев и пресс для выжимания винограда. Перед домом холм постепенно спускается к дороге. Пространство это огорожено забором, по которому ползет вьюнок. На лужайке кое-где посажены подсолнух и мак, по дому вьется плющ, а посередине двора раскинуло свои ветви старое ореховое дерево. Полдень давно миновал, солнце склонилось к западу; в низины Стубицких гор медленно спускается мрак, и лишь на вершинах играют золотистые лучи. На скамье под ореховым деревом сидит мужчина и обтесывает ярмо для волов. По всем признакам – это хозяин дома, но не знаешь – кмет он или свободный крестьянин. По одежде судить трудно. Кметы такой не носят. На нем штаны из дорогого сукна, сапоги светлые, из тонкой кожи, с узкими носами, белая вышитая рубаха, на темном жилете тесно нашиты серебряные пуговицы, шея обмотана красным шелковым платком, на голове кунья шапка. Еще труднее судить по фигуре и по лицу: он высок, тело могучее, как дуб, мышцы словно из камня, плечи ровные, широкие, а грудь на двоих. Шея крепкая, голова большая, немного удлинённая сзади. Блестящие русые волосы расчесаны надвое, над крупным носом высокий лоб, внизу узкий, вверху широкий, с двумя-тремя поперечными морщинами. Из-под прямых густых бровей загадочно сверкают темные глаза. В них видны и мужской разум, и женская мечтательность. Лицо у мужчины крупное, продолговатое, к подбородку округленное. Бороды нет, усики маленькие, подстриженные. Лицо спокойное, бесстрастное; ни один мускул не дрогнет, – как у человека, который много думает, редко сердится и ничего не боится. Кожа у него ни белая, ни смуглая. Он работает усердно, не меняя выражения лица даже и тогда, когда твердое дерево не поддается топору. По временам, однако, выражение это меняется. Когда он о чем-то задумывается, лицо становится серьезнее, глаза темнеют, как бывает, когда умный человек испытывает глубокое страдание. И тогда он принимается тесать еще усерднее, стараясь разогнать невеселые думы. Дворянин ли этот человек? Если и нет, то, во всяком случае, облик у него благородный.

Вдруг он опустил топор и посмотрел в сторону Стубицы, откуда быстрыми шагами шел молодой, худой и смуглый крестьянин, который, видимо, спешил. Войдя во двор, он подошел к хозяину.

– Слава Иисусу Христу! – сказал он.

– Во веки веков! Джюро! Что случилось? Почему ты так спешишь? Ты ко мне бежал? – спросил старший.

– Да, дорогой дядя, – ответил парень, – дай дух перевести. Если б ты знал, что случилось! Прокля...

– Сядь, Джюро, успокойся и расскажи!

– Ох, ох, дядя, сам черт принес нам этого нового владельца. Горе горькое. Слушай! Ты знаешь эту бедную вдову Катю Марушич из Запрешича?

– Знаю.

– У нее пятеро малолетних детей. Мужа ее забрали в солдаты, турки его зарезали. Мучается, бьется, бедняжка; ее ведь все уважают...

– Ну?

– Ну, приходит к ней слуга Тахи, Петар Бошняк, убей его бог. Этот антихрист наговорил и нашептал госпоже Тахи, что Марушич за старую госпожу и против новой. Правда, госпожа Марта и барышня Софика часто навещали Марушич и не раз приносили ей, бедной, подарки, но чтоб она бранила госпожу Елену, так это неправда: она бы побоялась это сделать. Но ложь подобна сорной траве: где упадет зерно, там за ночь бурьян покроет все поле. И что же? Подумайте только, дядя! Госпожа Елена и этот наш новый владелец поверили пустым словам Петара, и плохо пришлось Марушич. Приходит Петар в Запрешич с бандой таких же, как и он. «Покажу я тебе госпожу Уршулу! – крикнул он ухмыляясь. – Увидишь, где твой бог, поганая собака!» И так ударил бедняжку кулаком в спину, что она упала ничком. Разбойники выломали ворота, забрали весь хлеб, гречиху, кукурузу и откормленного вола, которого ей подарили старые господа. Мало этого. Отняли прекрасный виноград, разграбили кладовую, взяли вино; бедняга сидит на камне перед своим домом и плачет, плачут и дети, так что сердце разрывается.

– Неужели это правда? – спросил Матия Губец; побледнев, он бросил топор и вскочил на ноги.

– Это такая же сущая правда, дядя, как то, что меня зовут Джуро Могач, что я круглый сирота, которого вы с малых лет кормите и защищаете. Я сегодня был в Запредице, видел бедную вдову и готов был заплакать. Что ж, эти господа бога, что ли, не боятся? Спросите сами Грог Зделара, Степана Елаковича и старого Мато Ябучича из Запредицы. Они вам еще больше расскажут; они все видели собственными глазами.

– Видели собственными глазами? – переспросил Губец с гневом. – А что же они делали собственными руками?

– А что же было делать? Собрались, пошумели. Да что толку? Вскоре в село пришел целый отряд, вооруженный острыми копьями. Разместились у судьи. Тут всю ночь пили, все побили, а судья молчал. Боже мой! Сила!

Губец опустил голову и прикусил нижнюю губу.

– И такие же черные вести, дядя, приходят и с других сторон, – продолжал Джуро. – Старый Тахи – сущий черт! Кто до зари не выйдет на барщину, того палками бьют перед Суседом, а опоздает приказчик на минуту, его – в колодки, где он и жарится целый день на солнце. Да, у Мато Мандича в Брдовце отняли дом, поле и виноградник и прогнали с побоями, как собаку.

– Эх! – вздохнул Губец гневно.

– Беда, дядя, беда! А теперь господа грозятся, что будет еще хуже и что, кто только посмеет слово сказать, тому голову долой. Они разузнают повсюду, вокруг Суседа, в Трговине, в Яковле и в других селах, кто остался верен старой госпоже, и тому угрожают кнутом. Старый, сивобородый Тахи – черт, и жена его Елена – тоже с рогами. У бедного кмета, что служит при церкви в Пуше, был единственный поросенок; госпоже надо было приготовить жаркое, – ну, этого последнего его поросенка и погнали в Сусед. Но самый сумасбродный из них – это молодой господин Гавро. Он стреляет из ружья по кметским лошадям и коровам, водит всюду с собой целую свору собак и натравливает их на крестьян. Намедни они едва не растерзали старого Юрко из Брдовца, и сделали бы это, если б моя Яна не принялась лупить их палкою по морде.

Губец стоял в раздумье, скрестив руки. Он погрузился в тяжелые мысли, в его груди словно шел великий бой.

– Да, – продолжал парень торопливей, – я ведь, дядя, пришел и по своим делам; и у меня не все ладно, хотя я и не кмет, а свободный.

– Что случилось, Джуро? – спросил Губец, поднимая голову.

– Скажите, дядя, когда же вы, наконец, пошлете сватов к Яне?

– Не бойся, будет и это! – успокоил его Губец.

– Ах, дорогой дядя, «будет» – так цыгане говорят, гадая. Что я не отступлюсь от Яны, вы знаете хорошо, и она привязалась ко мне, да и вы не противитесь. Ни я, ни она никакого зла вам не причинили. Мое хозяйство, слава богу, не из плохих. Я построил себе славное жилье. Родственники на меня злятся, завидуют мне, не лежит у них ко мне сердце. И вот я, ей-ей, один, как дерево среди ровного поля. Эх, скорей бы этому конец, очень уж мне тяжело ждать.

– Вот тебе на, паренек, – сказал Губец, – ему тяжело ждать! Погляди-ка! А где у тебя борода? Садись на скамью и слушай.

Джуро, недовольный, сел; сел и Губец. Дядя опустил голову, положил руки на колени и спокойно сказал:

– Ты, правда, еще без бороды, но тебе уже пошел девятнадцатый год и молоко у тебя на губах уж обсохло. Когда твоя покойная мать, моя сестра, умирала, она подозвала меня к постели и сказала: «Брат! Моя песенка спета, пора покидать этот свет. Грудь мою словно камень давит, плохо мне, плохо; слава богу, что еще не хуже. Богом заклинаю тебя, брат, об одном! После меня останется мой единственный сын Джуро; глаза его отца давно уже закрылись, а теперь скоро их закроет и мать, некому будет о нем позаботиться. В доме моем живут мои родственники, и так как моему сыну по наследству принадлежит половина, то они завсегда против него и, как только представится случай, будут ему вредить. Будьте ему вместо отца-матери, ты и наша старуха мать. Берегите мальчика, потому что кости мои не найдут покоя в могиле, если ему будет плохо. Поклянись мне, что ты будешь думать и заботиться о нем, поклянись, и тогда я

умру спокойно». И я поклялся, слышишь ли, честью поклялся ей перед смертью, а она повернулась и спокойно уснула навеки. И что я обещал, то и исполнил. Кормил и охранял тебя как от чужих, так и от родственников в твоём доме.

– Да, дядя, и спасибо вам за это.

– Ты видишь, Джуро, что я желаю тебе добра. Поэтому надейся на меня. Я всегда думаю о тебе, и я и твоя бабушка, моя мать. Взял бы я тебя в свой дом, но ты свободный, а я кмет, тогда и тебя могли бы сделать кметом. Лучше, что ты живёшь на своей земле, хотя, как я уже сказал тебе, твои сородичи зарятся на твою часть; знаю я, что ты задумал, – сердце твое пленила Юркина Яна. Бедная она, но это не важно; она честная и работающая. Сородичи твои подбивают тебя жениться на богатой, а я говорю: бери Яну, потому что у одних девушек богатство в одежде, а у других – в сердце. Но всему своё время, сынок, и поверь, не напрасно у меня выросла борода. Легко найти жену, которая народит детей, но в хозяйстве нужны крепкие руки, чтобы крыша не завалилась. Слишком вы молоды, вы ещё дети, – ей пятнадцать, тебе восемнадцать. Ей ещё самой надо молоком питаться, а не кормить детей, подождите ещё немного!

– Эх, дорогой дядя, – и парень почесал за ухом, – знаю, что вы говорите дело, недаром весь край слушает вас больше, чем попа или судью. Но... гм... я все боюсь, как бы не было слишком поздно там, где вам кажется слишком рано. Неспроста пришел я поговорить. Старый господин Тахи назначен капитаном в Великую Канижу; поэтому он из всех мест набирает себе отряд всадников – кого за деньги, кого под угрозой – «должен». Не так давно этот старый волк встретил меня на дороге возле Яковля. Я ехал верхом в Загреб. Тахи остановил меня и спросил, кто я и что я, а я ему ответил: «Джуро Могаич, свободный крестьянин из Стубицы». На это он говорит своему спутнику Петару Петричевичу: «Этот парень словно создан для конницы. Запомни его имя, Петар!» И поехал дальше. Подумайте, что у меня было на душе. Я, слава богу, не трус; если б понадобилось, то поборолся бы и с волком среди лютой зимы, но сейчас, боже мой. когда все думаешь о Яне, как тут сядешь на коня, как понесешь голову свою туркам на расправу! Вот что тяжело. Сами посудите.

– Не бойся, сынок, – ответил Губец, – ты свободный человек, живёшь на своей земле. По закону, Тахи не имеет права забрать тебя в свой отряд.

– Знаю, – ответил недовольно Джуро, – но закон, когда дело касается Тахи, мало помогает, как будто он и не про него писан. Несколько дней тому назад

господин Тахи созвал в замок всех сельских старейшин и велел им подать писарю имена всех холостых парней, кметов и свободных, которые бы годились во всадники, а когда ему брдовацкий судья заметил, что спокон веков свободные в счет не идут, что это ему известно, так как он много раз занимался подсчетом мужчин, которых призывали на службу по дворам, – то старый Тахи налетел на него, крича, что свободные такие же крестьянские собаки, как и кметы, и что он сам пишет законы, а «старые болваны», то есть старейшины, пусть держат язык за зубами. Вы видите, дядя, что я пришел к вам не из-за пустяков, а потому, что боюсь беды, наш старейшина записал и мое имя, а потом рассказал мне все, что произошло в Суседе. Жените меня, дядя, и нечего будет бояться; если я и молод, то не дурак, а вы умный и будете возле нас. Не хотелось бы там, в Венгрии, сложить голову, – Жени его, жени нашего Джюрко, – раздался из дома слабенький голос.

На пороге показалась старая крестьянка, вся в морщинах, с высохшим лицом и седыми волосами. Держась обеими руками за дверь, старая Губец медленно добралась к сыну и внуку и села на скамью между ними. Взяв Джуро за руку, она обратилась к сыну:

– Да, Мато, жени его! И твой отец был не старше, когда привел меня сюда из Пуши. Яна – хорошая девушка; правда, бедная, но и я ничего не принесла в дом. Не всегда так бывает, чтобы, когда двое договорились между собою, все шло гладко, по расчету и обычаю. Это старая песня. Что поделаешь, когда нас бог сотворил такими. И как раз теперь, когда его хотят угнать на турок. Не дай бог!

Губец сдвинул брови, провел рукой по волосам и задумался.

– Хорошо, мама, – сказал он, наконец, – пусть будет по-вашему, раз уж так. Я знаю, по закону господин Тахи не имеет права забрать Джуро в солдаты. Но парень прав. Что такое нынче закон? Сабля и виселица. Пойду к старому Тахи. Я скорее согласился бы потерять лучшую корову, чем идти к нему, но все-таки пойду, раз уж я дал клятву матери Джуро, хотя я и не знаю точно, можно ли считать этого старого насильника здешним господином. Не буду ни просить, ни кланяться, а скажу только правду. Завтра, значит, придется отведать этого кислого яблока. Ты, Дядаро, скажи своим домашним, на чем мы порешили, и можешь завтра пойти в Брдовец и сказать Юрко и Яне, пусть будет по-вашему и пусть девушка все приготовляет. Что ж, хорошо так, мама?

– Да, сын мой, – ответила старуха, – делай, как лучше; я знаю, что ты поступишь умно.

– Ну, спасибо вам, спасибо, дорогой дядя. Теперь конец нашему горю! Эх, Яна, Яночка, душа моя! Бог даст, в будущем году будем вместе собирать виноград! – от радости парень подбросил в воздух шапку.

Но в эту минуту со стороны Голубовца слышался конский топот. Матия посмотрел в ту сторону и вздрогнул; потом сказал парню:

– Темнеет. Возвращайся в село, Джуро, и делай, как я тебе сказал; а вы, дорогая мама, идите в дом, я скоро приду.

– Хорошо, – весело сказал Джуро. – Прощайте, дядя! Прощайте, бабушка, покойной ночи!

И он вприпрыжку побежал к селу, а старуха медленно поплелась к дому.

Губец спустился с холма к ограде. Через две-три минуты перед воротами остановился всадник на вороном коне. На нем был длинный черный плащ, на голове черная бархатная шапка набекрень. Это был крепкий черноглазый молодой человек. По горящему взгляду и по жестким чертам крупного лица видно было, что это человек нехороший.

– Добрый вечер, Мато! – закричал приезжий, соскакивая с коня.

– Это вы, уважаемый господин? – спросил Губец с удивлением.

– Да, я, – коротко ответил молодой человек, – ты удивляешься, что Степко Грегорианец приехал к тебе, а? Отвори ворота, чтоб я мог ввести коня. Мне надо сказать тебе несколько слов с глазу на глаз, понимаешь? Мы тут одни?

– Кроме моей матери, никого нет поблизости, – ответил Губец, поглядывая на приезжего, и отворил ворота. Степко ввел вороного коня во двор, привязал его к дереву и сел на скамью под орехом.

– Садись, Мато, – сказал он, распахнув плащ, под которым виднелась широкая сабля и два пистолета за поясом. Матия сел.

– Я не хотел, чтоб меня здесь видели люди Тахи, – продолжал Степко. – Поэтому я приехал не через Сусед, а с другой стороны.

– Что прикажет ваша милость? – спросил Губец.

– Я приехал узнать – по сердцу ли вам ваш новый хозяин?

– А кто наш хозяин?

– Разве вы еще не почувствовали его кнута? – язвительно спросил Степко.

– Вы спрашиваете о Тахи, – сказал Губец, – чувствуем ли мы его кнут? Он ранит нас до крови.

– Вы и дальше будете слушать его?

– Кого же слушать, раз он наш законный хозяин?

– Разве ты не знаешь, на чьей стороне право?

– Откуда нам знать? Мы кметы. Закон – ваш, суд – ваш. Посмотрим, что скажет суд.

– Не прикидывайся, Мато, – проговорил нетерпеливо молодой господин Грегорианец, облокотившись на колено и глядя в землю. – Ты не такой кмет, как все остальные, ты человек умный. Суд! К черту суд, если он несправедлив!

– Так вы, господа, сделайте так, чтоб он стал справедливым.

– Мы этого и хотим. Ты здешний, а тут каждый ребенок знает, что Стубица законное имение моей тещи.

– Знаю, что так было.

– И есть, перед богом и людьми! Ты знаешь также, что Тахи его отнял, как разбойник.

– Знаю, что дело было нечисто, потому что он приехал ночью, а не среди бела дня.

– Ладно. Ну, скажи, мучила ли вас моя теща, угнетали ли вас мы, ее зятя?

– Нет.

– Ну, вот видишь, Мато, а теперь что творится? Скажи, скажи сам. Тахи вас обдирает, отнимает у вас скот, землю, а теперь погонит ваших сыновей биться с турками. Что ж, вы с этим согласны?

– Нет, – ответил спокойно Губец.

– И вы молчите?

– А что ж мы можем? Скажите, что? – отрезал Губец и спокойно посмотрел на вельможу.

– Требуйте справедливости.

– А кто нам ее даст? Почему вы не скажете все это бану, суду?

– Уже сказали. Но плохо помогает.

– Какой же это бан, если он не заботится о справедливости? Коль уж вы, господа, ничего не можете, то что же можем мы, крестьяне?

– Очень просто. Вас много. У вас есть кулаки, косы и ружья. Навалитесь!

– А вы помиритесь с Тахи и будете нас вешать?

– Клянусь господом богом, что нет. Я приехал не только от своего имени или от имени моей тещи. И мой отец, подбан, так же думает.

– И ваш отец? Честь ему и слава. Справедливый человек, наш человек.

– Видишь, я приехал с полномочиями.

– Но скажите мне, уважаемый господин, я в толк на возьму: баи так говорит, а подбан – эдак; кто же говорит правильно?

– Бан – зять Тахи.

– Верно, это вы хорошо сказали, – горько усмехнулся Губец. – И господа иногда с пути сбиваются. Наши спины это знают, и много раз уж во мне кипела кровь, потому что мы, крестьяне, все же не скотина. Но почему вы приехали именно ко мне, Матию Губцу, уважаемый господин?

– И ты еще спрашиваешь? Ты же прекрасно понимаешь. Ты кмет, но во всем крае крестьяне тебя слушают больше, чем приказчика и кастеляна, больше, чем самого помещика. Как ты скажешь, так оно и будет. Когда крестьяне ссорятся, они приходят к тебе на суд, потому что ты умен, потому что ты знаешь больше других. А разве они не приходили к тебе с жалобой?

– Приходили.

– Помни, что старые господа были к тебе добры, считались с тобой.

– Что я должен сделать? – спросил крестьянин, вставая.

– Скажи слово своему куму Илии и другим людям по селам. Через несколько дней Тахи уедет со своим отрядом в Канижу. Замок будет пуст, жена Тахи не идет в счет. Не сдавайтесь, бог дал вам руки, все остальное получите.

– Все останется по-старому. Выслушайте меня, уважаемый господин. Был у меня родственник, священник. В молодости я у него служил. Он слишком рано умер, а то, может быть, и я носил бы рясу. Тому немногому, что я знаю, я научился у этого почтенного старца. Будь умным и сердечным человеком, говаривал мне

старик, и бог тебя не оставит. Но одно без другого не приносит счастья, и дела твои не пойдут, если ты выкажешь слишком много ума или слишком много сердца. Надо соблюдать равновесие. Этот человек научил меня и читать. Писать же, к сожалению, я не умею. Когда старик умер (он был беден), мне ничего от него не досталось, кроме одной только книги – Священного писания. В долгие зимние вечера я часто, часто читал эту книгу, и на душе у меня становилось легко. Я и теперь ее читаю. Все, что там написано, совсем не похоже на то, что творится на белом свете.

– Зачем ты мне читаешь эту проповедь? – спросил недовольно Степко, глядя с удивлением на крестьянина.

– Погодите, ваша милость, сейчас узнаете зачем. Библия говорит, что все люди происходят от Адама и Евы, – значит, и дворяне и кметы; что все люди братья, – значит, мы и вы – одна кровь. И когда сын Адама убил своего брата, бог его проклял. А разве наш спаситель не сказал: люби ближнего своего, как самого себя; не сказал ли он также, что всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится? Когда я вошел в разум, то смекнул, что и я – сын Адама и что мой род так же стар, как род любого князя, только у князя имена его предков записаны на пергаменте, а у нас, кметов, нет. Видел я потом, как благородный брат убивает и мучает своего брата кмета, и сказал себе: «Это неправильно, бог учит другому; неправильно все в мире. Придет суд божий и все исправит!»

– Что ты такое говоришь? – И, вскочив на ноги, Степко уставился на Губца.

– Я вам это говорю, – продолжал спокойно крестьянин, – для того, чтобы вы знали, как думает Матия Губец. Что вы, господа, хотите от нас, что вы из нас хотите сделать? Почему вы не позволяете нам стать хоть наполовину людьми, раз уж в ваших документах написано, что вы лучше, а мы хуже? Хорватский крестьянин тогда и хорош, когда от него ждут помощи, когда он должен давать либо свои деньги, либо свою кровь, а во всем остальном – он кмет, то есть дерьмо. Вы и теперь пришли просить нашей помощи, – вельможа натравливает крестьянина на вельможу, чтоб защитить свои права. Я тоже ненавижу Тахи, – продолжал Губец глухим голосом, и глаза его загорелись, – ненавижу за то, что он считает себя богом, а нас собаками. Но если мы будем проливать кровь ради ваших прав, то какие же права получим мы, сермяжные крестьяне?

– Даю тебе честное слово, – сказал Степко, глядя с некоторым уважением на крестьянина, гордо поднявшего голову, – когда моя теща вернется в Сусед, ты получишь свободу, станешь вольным.

– Благодарю вас, господин, – усмехнулся Губец, – неужели вы думаете, что я за свою помощь требую вознаграждения? Ошибаетесь! Что я? Я одинок и останусь одиноким; но когда я вижу, как бедняки в округе плачут и вздыхают, у меня сердце болит.

– Послушай, Губец, клянусь тебе, если мы снова получим наше имение, мы будем заботиться о вас и никогда вас не оставим.

– Вы в этом клянетесь? – строго спросил крестьянин вельможу.

– Клянусь богом и моим спасением! – ответил молодой человек.

– Дайте мне поразмыслить три-четыре дня, а потом я пошлю за кем-нибудь из ваших людей и скажу ему, что будет.

– Ладно! Пошли за приказчиком Степаном или за Иваном Сабовым, которые живут в Брдовце с тех пор, как Тахи прогнал их из замка. Значит, через три дня.

– Через три дня, – ответил крестьянин, – а теперь покойной ночи, ваша милость!

– Покойной ночи, – сказал Степко, подав кмету руку.

Он ушел. Вскоре в ночной тишине раздался конский топот, удалявшийся по направлению к Голубовцу и постепенно замерший в горах. Но Губец еще долго сидел под ореховым деревом, подперев ладонью голову; он старался сквозь мрак ночи разглядеть грядущие дни. Пока он так размышлял, от Стубицы к Суседу быстро шагал пожилой человек, Андро Могаич – дядя Джуро, в ту же ночь он был принят владельцем замка.

Когда на следующее утро, около девяти часов, Матия Губец подошел к Иванцу у большой дороги, один знакомый сказал ему, что Джуро Могаич уж добрых полчаса как прошел тут, направляясь к крапинскому мосту; а когда он достиг

села под Суседом, там было на что поглядеть. Стоял шум и гам. У столбов было привязано много коней; на дороге и в домах орали какие-то странные люди: мадьяры, штирийцы, славонцы, посавцы, все в шапках и синих доломанах, с необычными, дерзкими лицами; казалось, будто воронье слетелось со всех концов света в это мирное село. Ела Филиппчич, вышедшая как раз в это время из дому, по пути объяснила Губцу, что это и есть канижские всадники господина Тахи и что они сущая напасть, ибо во всем селе не осталось больше ни гусей, ни кур, а девушки и молодые женщины не смеют показываться на пороге; она-то, слава, богу, старая и ей нечего бояться этих головорезов. К счастью, добавила она, вся эта нечисть через три-четыре дня двинется с хозяином в Венгрию, но до тех пор прольется еще много слез, потому что Тахи намеревается насильно забрать в свою конницу холостых мужчин из всех сел, пусть бог смилуется над бедными матерями. – При этом известии у, Губца похолодело на сердце, и, не интересуясь больше шумными всадниками, он попрощался со старой Елой и стал подниматься к замку. Наружные ворота были широко открыты; кметы, слуги, офицеры и солдаты с криком и шумом сновали взад и вперед. Губец мог поэтому беспрепятственно войти на первый двор. Недалеко от ворот, прислонившись к стене, стоял маленький толстый человек в темной одежде, с опухшим лицом, с торчащими черными усами и маленьким острым носом, и внимательно наблюдал за тем, что происходило во дворе.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Уважаемый и благородный господин (лат.).

2

то, что по закону (лат.).

3

Даю, чтоб и ты дал (лат.).

4

Во-первых (лат.).

5

Хорошо (лат.).

6

Во-вторых (лат.).

7

В-третьих (лат.).

8

в отношении владения и всех владельческих прав (лат.).

9

поместье с постройками и хозяйственными орудиями (лат.).

10

для большей силы права, чтоб закрепить наше право (лат.).

11

уважаемый господин (лат.).

12

досточтимый (лат.).

13

уважаемый друг (лат.).

14

досточтимый друг, приятель (лат.).

15

Итак, господин Георгий (лат.).

16

для достоверного свидетельства (лат.).

17

суть (лат.).

18

согласно дару господина короля Фердинанда (лат.).

19

куриальный судья (лат.).

20

вельможный (лат.).

21

Что посоветовать? (лат.).

22

Для себя (лат.).

23

наследственное право (лат.).

24

сила закона (лат.).

25

Честный договор создает добрых друзей; кредит портит отношения (лат.).

26

в наилучшей форме (лат.).

27

по гражданскому праву (лат.).

28

знак вероломства (лат.).

29

Законным путем (лат.).

Купить: https://tellnovel.com/shenoa_avgust/krest-yanskoe-vosstanie

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)